

 200 лет со дня рождения
Ф.И. ТЮТЧЕВА

Поэтика уходящего мгновения

И. И. КОВТУНОВА,
доктор филологических наук

У А. Пушкина и Ф. Тютчева есть сходный мотив осеннего увядания природы, который вызывает у обоих поэтов одинаковые ассоциации с безмолвным страданием увядающего человеческого существа. В пушкинской “Осени”, описывающей *пышное природы увяданье*, есть такие строки:

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

Если в “Осени” Пушкина ассоциация с чахоточной девой – побочный эпизод стихотворения, то в “Осеннем вечере” Тютчева параллель между увяданием природы и человека – основной образ стихотворения:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота деревьев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветер порою,
Ущерб, изнеможенье – и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

Совпадают у Пушкина и Тютчева некоторые словесные образы: *Улыбка на устах увянувших видна* и *кроткая улыбка увяданья*, при-

знак тихий: *Красою тихою, блистающей смиренно* (Пушкин) и *Туманная и тихая лазурь* (Тютчев). *Признак милый, умильный: Но мне она мила, читатель дорогой* (Пушкин) и *Умильная, таинственная прелесть* (Тютчев). Близки по семантике *смиренно* (Пушкин) и *кроткая* (Тютчев).

В стихотворении “Осенний вечер” главная для поэта мысль сосредоточена в последнем четверостишии. С особой силой звучит завершающая стихотворение строка: *Божественной стыдливостью страданья*. Тютчев здесь глубоко раскрывает душевное состояние увядающего, подобно осенней природе, человека.

Мысль о прелести увяданья Тютчев повторил через 20 лет (в 1850 г.) в стихотворении “Обвеян вещею дремотой” с применением тех же словесных образов. Это случай автоцитации:

Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас,
Когда, что так цвело и жило,
Теперь, так немощно и хило,
В последний улыбнется раз!..

У Тютчева происходит оживление, одухотворение природы – путем ее метафоризации. *Ущерб, изнеможенье – и на всем Та кроткая улыбка увяданья* – в этом образе сочетаются признаки природы и признаки человека.

В стихотворении “Осенний вечер” перед нами предстают важные черты, присущие поэтике Тютчева. Это, во-первых, сопоставление природы и человека. Обычно рисуется развернутая картина природы, а в конце стихотворения появляется аналогия с человеком. Вторая особенность, присутствующая в этом стихотворении, – созданная Тютчевым поэтика переходных состояний.

Внимание Тютчева было привлечено к переходным состояниям в природе и судьбе человека. Для времен года это весна и осень, для времени суток это рассвет и сумерки. В “Осеннем вечере” соединяются два состояния угасания в природе – осень и вечер. В описании осени и сумерек в поэзии Тютчева отразилась утонченная, едва уловимая жизнь природы. Именно в эти периоды в природе господствуют полутона, тонкие оттенки цвета, движение замедляется, появляется мягкость освещения, покой.

Среди переходных состояний особенно притягивали к себе Тютчева состояния затухания, угасания, исчезновения. В стихотворении “Как неожиданно и ярко” описывается быстро уходящее и в конце концов исчезнувшее мгновение сияния радуги:

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка

В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла –
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его – лови скорей!
Смотри – оно уж побледнело,
Еще минута, две – и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь.

В явлении радуги – несколько этапов: вся полнота жизни, изнеможение, побледнение и окончательный уход. И, как это свойственно мысли Тютчева, в конце речь идет об участии самого поэта и человека вообще, подобной явлению радуги. Здесь разговор с собой сочетается с разговором с незримым собеседником (*лови; смотри; чем ты и дышишь и живешь*). Заключительная мысль бросает ответ на предшествующий текст: смысл строк *Она полнеба обхватила И в высоте изнемогла* может быть отнесен и к состоянию души поэта.

В описаниях перехода от дня к ночи повторяются образы сумрака, вечеряющего дня, замирания дневной жизни. Ключевые слова, передающие этот процесс перехода, имеют значение угасания, исчезновения: *вечереть, темнеть, гаснуть, потухать, исчезать, таять, догорать, скудеть, меркнуть, бледнеть, блекнуть, изнемогать*. Некоторые примеры:

*День вечереет, ночь близка,
Длинней с горы ложится тень,
На небе гаснут облака...
Уж поздно. Вечереет день.*

(“День вечереет, ночь близка”)

Повтор фразы *вечереет день* здесь образует строфическое кольцо (курсив здесь и далее наш. – И.К.).

На мир дневной спустилася завеса;
Изнемогло движенье, труд уснул...

(“Как сладко дремлет сад темно-зеленый”)

Тени сизые *смесились*,
Цвет *поблекнул*, звук уснул.

(“Тени сизые смешались”)

Семантика изменения состояния, в том числе приближения ночи, нередко выражается у Тютчева сравнительной степенью прилагательных. Сравнительная степень образно передает процесс усиления, нарастания признака в картине перехода из одного состояния в другое: “И тень нахмурилась *темней*”; “*Все темней, темнее* над землею – Улетел последний отблеск дня...”; “И *торопливей, молчаливей* Ложится по долине тень”.

Есть также у Тютчева стихи, где речь идет о нарастании ущерба в душе человека:

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно *изноет* наконец...

(“Предопределение”)

Обращает на себя внимание в языке Тютчева множество слов с компонентом *полу-*, обозначающих неполноту признака и рисующих тонкие и смутные состояния природы и души, когда жизнь проявляется приглушенно: *полусонный* (“Ходили тени по стенам И *полусонное* мерцанье...”; “И много лет и теплых южных зим Провеяло над нею *полусонно*); *полусонье* (В сладкий сумрак *полусонья* Погрузись и отдохни); *полусвет* (“И в мерцанье *полусвета*, Тайной страстью занята, Здесь влюбленного поэта Веет легкая мечта); *полупрозрачный* (“Пора разлуки миновала, И от нее в руках у нас Одно осталось покрывало, *Полупрозрачное* для глаз). В первой строфе стихотворения “Осенней поздней порою” в картине осенних сумерек дважды повторяется слово *полумгла*:

Осенней поздней порою
Люблю я царскосельский сад,
Когда он тихой *полумглою*
Как бы дремотою обьят,
И белокрылые виденья,
На тусклом озера стекле,
В какой-то неге онеменья
Коснеют в этой *полумгле*.

В этой картине сумерки уже наступили, время как будто остановилось, но в сонном, дремлющем мире, воцаряющемся с приходом ночи, есть своя подспудная, потаенная жизнь, которую чутко воспринимал поэт. В дремотном мире Тютчева слышнее становится таинственная жизнь природы, скрытая при дневном свете, движении и шуме. В поэтических образах дремоты, характерных для Тютчева, динамика из-

менения состояния (постепенного наступления сумерек) сменяется динамикой внутренней жизни при неподвижности внешней картины. Вот показательный пример:

На мир дневной спустилася завеса;
Изнемогло движенье, труд уснул...
Над спящим градом, как в вершинах леса,
Проснулся чудный, еженочный гул...
Откуда он, сей гул непостижимый?..
Иль смертных дум, освобожденных сном,
Мир бестелесный, слышный, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном?..

(“Как сладко дремлет сад темно-зеленый...”)

Тютчеву свойственно стремление замедлить уходящее время, остановить мгновение. Желание остановить мгновение, дать ему вечную жизнь встречается и у других поэтов. По мысли А. Фета, то, что однажды воспринято поэтом, в стихах остается навеки: “Этот листок, что иссох и свалился, Золотом вечным горит в песнопенье” (“Поэтам”). Особенность Тютчева в том, что замедление мгновения у него выражено в самом поэтическом образе – в словесной ткани и в ритме стихов.

Медлительность времени, в течение которого происходят изменения в природе, воспроизведена в стихотворении “Я помню время золотое”. Вот первые три строфы:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, молодая фея,
На мшистый опершись гранит.

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

Однородный перечислительный ряд в последней строке вносит паузы, замедляющие темп речи. Стремление к замедлению уходящего времени проявляется и в стихотворении “Последняя любовь”:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...

Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, –
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.

Содержанию стихов, словесной образности вторит ритм. Пропуск ударений в ямбе (пиррихий) здесь ощутимо замедляет стих. Ударения пропущены на второй или третьей стопе почти во всех строках (исключение – первая и третья строки первой строфы и первая строка последней строфы). Особенно выделяется завершающая строка стихотворения, в которой всего два ударения, по одному в каждом полустишии. Желание остановить время ощущается физически.

Композиция стихотворения симметрична. В начале первой и третьей строфы – мысль поэта о последней любви (“О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней...; Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет нежность”). Серединная строфа – о б р а з вечерней зари, с которой сопоставляется последняя любовь. Именно в этой строфе наиболее замедленный ритм (пиррихии во всех строках). Стремление поэта остановить время выражено в закликательных формулах: *Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней* в первой строфе и дважды – в серединной строфе: *Помедли, помедли, вечерний день, Продлись, продлись, очарованье*.

Звуковая композиция стихотворения образно передает силу выраженного чувства. Среди ударных гласных преобладает *е* – звук, отличающийся высотой тона. Из 40 гласных стихотворения высоких гласных – 25 (19 *е* и 6 *и*), низких по тону – всего 5 (4 *о* и одно *у*). Звук *е*, составляющий половину ударных гласных, несет в тексте стихотворения высокий эмоциональный заряд, приобретает образную функцию.

Повторы *е* расположены симметрично: по вертикали *е-е-е-е* в рифме в первой строфе (*лет, суеверней, свет, вечерней*) и во внутренней рифме в последней строфе (*скудеет, не скудеет, последняя, блаженство*), по горизонтали *е-е-е-е* в строке *Помедли, помедли, вечерний день*, *е-е-е* в строке *Но в сердце не скудеет нежность*, *е-е* в строке *Ты и блаженство и безнадежность*. Симметрично расположены гласные и в других строках: *-а-о-а, е-и-е, и-е-и-е*.

Повторы согласных соответствуют смысловой связи слов. В первой строфе *в-р-н* в рифмующихся словах *суеверней* и *вечерней*. Во вто-

рой строфе *п-дл* в заклинательной формуле *Помедли, помедли* и *Продлись, продлись*. Там же *в-ч-р-н* и *ч-р-в-н* в словах *вечерний* и *очарование*. В последней строфе *л-б-в* и *б-л-в* в словах *любовь* и *блаженство*, *с-д-н* и *д-н-с* в словах *последняя* и *безнадежность*.

Звуковая образность стихотворения, как и его ритм, вторит словесной образности.

Звуковая симметрия входит в число средств гармонического построения поэтического текста, дающего вечную жизнь преходящему мгновению.

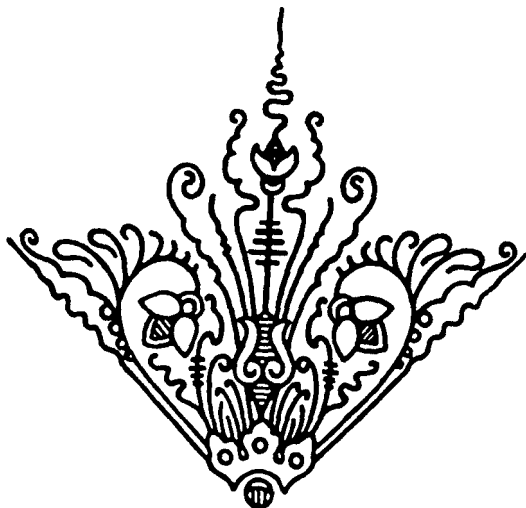
Поэтический мир Тютчева не ограничивается поэтикой уходящего мгновения. Это лишь один полюс. В стихах Тютчева мир изображен в его контрастных состояниях. На другом полюсе – поэтика “избытка жизни” (*И мир, цветущий мир природы, Избытком жизни упоен*). Это бурные проявления природы – шествие весны, гроза, море и др., а также бури страстей в душе человека.

“Хрестоматийный” Тютчев широко известен как певец весны и грозы. Но не менее значительна другая сторона поэзии Тютчева – образы тихой, приглушенной, потаенной жизни природы и души. Вероятно, именно такие образы дали основание А. Фету говорить об утонченности Тютчева: “Здесь духа мощного господство, Здесь утонченной жизни цвет” (“На книжке стихотворений Тютчева”), а Вяч. Иванову сказать о Тютчеве:

Таинник ночи, Тютчев *нежный*,
Дух сладострастный и мятежный,
Чей так волшебен *тусклый* свет...

(“Таинник ночи, Тютчев нежный”).

 200 лет со дня рождения
Ф.И. ТЮТЧЕВА



“Туда взлетая, звук немеет...”

А. В. БЕЛОВА,
кандидат филологических наук

Тематическое созвучие и схожесть образов сближают стихотворения Ф.И. Тютчева “Над виноградными холмами...” и А.С. Пушкина “Монастырь на Казбеке”. Тема этих стихотворений – божественное начало мира, божественное присутствие на небе, на земле и выбор человеком своего пути – относится к одной из самых глубоких. Она характерна в целом для поэзии XIX века и органична для творчества как Пушкина, так и Тютчева. Кроме того, эти стихотворения созданы поэтами примерно в одном и том же возрасте: Пушкиным в 30 лет, Тютчевым в 32 года.

Пушкинское стихотворение, написанное в 1829 г. во время путешествия на Кавказ (в Арзрум), имеет заглавие “Монастырь на Казбеке”, тем самым отсылая читателя к конкретному месту. Стихотворение же Тютчева, датированное 1835 годом, без заглавия и передает впечатления поэта от путешествия по Германии.

Приведем эти два стихотворения полностью:

Монастырь на Казбеке

Высоко над семью гор,
 Казбек, твой царственный шатер
 Сияет вечными лучами.
 Твой монастырь за облаками,
 Как в небе реюший ковчег,
 Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, возделенный брег!
 Туда б, сказав прости ущелью,
 Подняться к вольной вышине!
 Туда б, в заоблачную келью
 В соседство Бога скрыться мне!..

“Над виноградными холмам...”

Над виноградными холмами
 Плывут златые облака.
 Внизу зелеными волнами
 Шумит померкшая река.

Взор постепенно из долины,
 Подъемлясь, всходит к высотам
 И видит на краю вершины
 Кругообразный светлый храм.

Там, в горнем неземном жилище,
 Где смертной жизни места нет,
 И легче и пустынно-чище
 Струя воздушная течет.
 Туда взлетая, звук немеет,
 Лишь жизнь природы там слышна
 И нечто праздничное веет,
 Как дней воскресных тишина.

Поэт, находящийся в реальности на земле, но душой устремляющийся к Богу, является неким промежуточным звеном между землей и небом. Первые строфы обоих текстов показывают нам пейзаж, смысловым центром которого является место служения Богу: у Пушкина это “монастырь за облаками”, у Тютчева – “кругообразный светлый храм”. Образы *земли*, противопоставленные в обоих текстах образам *неба*, у поэтов несколько различаются. У Пушкина мы видим высокогорный пейзаж с ущельем, ослепительную вершину Казбека и словно парящий над ней монастырь. Эта картина полна динамики: кавказский пейзаж раскрывается перед нами, подобно распаханному окну. Поэт сразу переносит наш взор к самому Казбеку, обращается к нему на “ты”.

Прием синтаксического параллелизма (*твой царственный шатер сияет... Твой монастырь за облаками... парит*) порождает иерархическое движение от земли к небу: *Казбек – монастырь – реющий ковчег – возделенный брег – заоблачная келья – соседство Бога*. Поэтому семантической доминантой в первой строфе становится не Казбек, вознесшийся “высоко над семью гор”, а парящий в небе монастырь, “чуть видный над горами”. Монастырь, построенный под облаками, вызывает в душе странствующего поэта желание оставить грешный мир. Эта обитель для него – “далекий, возделенный брег”. А. Тыркова-Вильямс, пушкинский биограф, замечает: “Монастырь, построенный высоко на склонах Казбека, виден с Военно-Грузинской дороги. Он то смутно белеет, тонет в лиловой мгле, то вдруг отчетливо выступает, плывет навстречу путнику, волнуя воображение. Это одна из самых прекрасных подробностей этой прекрасной горной дороги. От Казбека дорога начинает спускаться к долинам севера” (Тыркова-Вильямс А.В. Пушкин. М., 1998. С. 252–253).

В первой строфе тютчевского стихотворения панорама обширнее, просторнее, это также южный пейзаж, но иной. Он эпичен, спокоен, автор раскрывает его, как свиток. Вначале мы видим небо и облака: “Над виноградными холмами Плывут златые облака”, потом взору открываются долина и река, и, лишь снова устремляясь к высотам, мы, наконец, видим храм. В структурном отношении слово *храм* венчает первую строфу и становится кульминацией и семантическим центром текста. У Тютчева во всем стихотворении царит поэтика покоя. Уже в первой строфе глаголы несовершенного вида создают плавность течения жизни. Лишь река *шумит*, хотя и она *померкшая*. Наречный эпитет *пóстепенно*, примыкающий к метафорическому глаголу *всходит*, также указывает на атмосферу созерцательности: “Взор постепенно из долины, Подъемясь, всходит к высотам”.

Вторые строфы передают глубокие движения души, сокрытые желания сердца, вызванные встречей с обителью Бога. Вся вторая строфа стихотворения Тютчева – это характеристика жизни неба – *горнего неземного жилища*. Храм – то, что не разъединяет, а соединяет небо и землю. Наречие *там*, открывающее вторую строфу, является “мостиком” между образом храма и всей последующей тканью текста. Отметим также, что, как и у Пушкина во второй строфе семантически наполненными являются параллельные конструкции *туда б подняться, туда б скрыться*, так и у Тютчева во второй строфе оказываются в структурно-семантическом отношении важными указательные наречия: *там* – в начале, *туда* – в середине строфы и в конце – снова *там*. В этой трехчленной пространственно-композиционной структуре заключено не столько авторское отношение к дихотомии *небо/земля*, сколько высказано общее понимание неразрывности этих

понятий и миров, неразъемности бытия, где тело – персть земная, а душа вечно будет устремляться туда, куда, *взлетая, звук не имеет*.

У Пушкина характер текста более динамичен, хотя в первой строфе использованы глаголы только несовершенного вида – *сияет, парит*. Первый глагол семантически оживлен за счет словосочетания с временным эпитетом: *сияет вечными лучами*. Эпитет *вечными* разъединяет плеоназм *сияет лучами* (с формой творительного сравнения). Препозитивное положение сравнительного оборота *как в небе реюший ковчег* по отношению к глаголу *парит* усиливает динамику первой строфы, что способствует приращению смысла. Эпитет *реющий* к метафоре *ковчег*, предшествуя глагольной форме, будто удваивает видение высокого храма: так возникает образ монастыря как небесного корабля.

Во второй строфе представлены глагольные формы только совершенного вида: *сказав прости, подняться, скрыться*, результативное значение которых ослабляется повтором частицы *б* с условным значением (*туда б*). Это и создает образ высокой мечты поэта, его сокровенного желания. На это указывает и форма дательного падежа личного местоимения – *мне*. Пушкин, избегая открытой модальности (я хочу), передает свой душевный порыв тонко и глубоко, усиливая его лишь тройным восклицанием и синтаксическим параллелизмом.

Смысловым и композиционным центром стихотворения является восклицательное предложение *Далекий, возжеланный брег!* Эпитеты *далекий, возжеланный* также включаются в создание образа монастыря-мечты, подчеркивают жгучее желание поэта оказаться в высокой обители – далекой, и потому еще более желанной. Это однородные определения, но вместе с тем они указывают на разные отношения в тексте: первый – на пространственные, второй – на психологические (*далекий* как недостижимый, а *возжеланный* как остро необходимый). Эпитет *возжеланный* является ключевым словом во всем тексте. В нем и страстное ожидание, и томление духа, и разочарование в реальности, и высокая зависть к природе, в частности к Казбеку, вечно сияющему в небе.

Образы *неба* и *земли*, вступающие в семантическую оппозицию, начинают стихотворения. В пушкинском тексте образ *неба* возникает у читателя благодаря первому слову – наречию *высоко* (*Высоко над семью гор*) и упоминанию о сверкающей в небе *вечными лучами* вершине Казбека. Реально *небо* присутствует с середины первой строфы. *Небо* у Пушкина, место обитания Бога, дано через включение следующих форм: *за облаками в небе... парит... над горами, к вольной вышине*. Романтик Пушкин устремлен в небо, он уже осознал суетность мирской жизни.

Небо у Тютчева открывается нам почти сразу же, со второго стиха, который предваряет словосочетание с предлогом пространственного

значения *над*: “Над виноградными холмами Плывут златые облака”. Цветовой эпитет *златые* с корневым *ла* создает звукообраз, соответствующий общей плавности и эпическому характеру всего пейзажа этой строфы. Далее образ неба присутствует скрыто, как и у Пушкина в начале стихотворения: “Подъемлясь, всходит к высотам И видит на краю вершины... Кругообразный светлый храм”. Поэт неспешно, но целенаправленно поднимает наш взгляд к небесам. И так же, как в пушкинском тексте, у Тютчева завершающим образом первой строфы становится обитель Бога – *кругообразный светлый храм*. Эпитет *кругообразный* вносит в общую гармонию содержания завершающий аккорд. Этим элементом заканчивается характеристика земли.

Эпитет *светлый*, вступая в семантические отношения с эпитетом *златые* (облака), создает образ ясного неба, золотого небесного света, являющегося контрастным по отношению к *зеленым волнам помержшей реки*. Слово *светлый* имеет для содержания всего стихотворения ключевое значение, так же, как эпитет *вожделенный* в стихотворении Пушкина. Оно указывает не только на свет реальный, но и на свет иной, духовный, источник всего сущего; свет, который получает и хранит любой храм, так как это место особого присутствия Бога на земле (света тьма боится, потому что он ее рассеивает).

Итак, у Тютчева, как и у Пушкина, образ храма становится центральным в структурно-семантическом отношении, это не только композиционный центр текста, но и средоточие его смысла (жизни в Боге или вне Бога).

Вторая строфа тютчевского стихотворения открывается иносказательным образом монастыря: *горнее неземное жилище*. Хотя, как нам представляется, данная строфа – описание не только *храма*, но в равной мере и *неба*. Образы *неба* обусловлены единством и теснотой стихового ряда. Небо как *горнее неземное жилище* с бессмертной жизнью, жизнью духа, противопоставляется смертной жизни, жизни телесной. Жизнь неба, по Тютчеву, легкая, чистая, праздничная (свободная), что выражено формами сравнительной степени наречных эпитетов: “И легче и пустынно-чище Струя воздушная течет”. Образ небесного покоя передается и глагольными формами *течет* и *немет*. Последняя является глагольной метафорой и вызывает ассоциации с тютчевским шедевром “*Silentium!*”, написанным в 1830 году. Поэт имеет в виду человеческие звуки, так как природа у него противопоставляется человеку. Жизнь природы не ограничивается для Тютчева только *землею*, она божественна, поэтому и не нарушает ни монастырского покоя, ни небесного.

Вводя ограничительную частицу *лишь*, поэт вызывает усиление контраста между мирами человека и природы: “Лишь жизнь природы там слышна”. Человек же, наделенный от Бога сознанием и волей, ча-

сто нарушает законы природы (не только земные, но и высшие законы, законы *неба*).

В конце пушкинского текста употреблено слово *Бог*, у Тютчева его нет, но незримое присутствие Бога ощущается во второй строфе, особенно в заключительных двух стихах: “И нечто праздничное веет, Как дней воскресных тишина”. Образ воскресной тишины, праздника, торжественности, где нет томления духа, “где время не бежит”, как скажет в XX веке другой поэт, способствует возникновению образа рая – *неземного жилища* – и души, его обитательницы.

Неопределенное местоимение *нечто (праздничное)* можно рассматривать как метафору-загадку (как намек). Стихотворение не случайно заканчивается сравнением с воскресным днем, с его тишиной, благостью. Этот день представлен как символ служения Богу.

В конце отметим важность для обоих стихотворений образа автора. У Пушкина образ поэта (лирического героя) реально-конкретный, у Тютчева – обобщенно-философский. Так, авторское присутствие в пушкинском тексте явлено в обращении к Казбеку, в оппозиции *я(мне)/ты (твой): твой...шатер, твой...монастырь – скрывать мне*. Конец пушкинского стихотворения напоминает нам о высоком духовном восхождении поэта, об определяющей роли Провидения в его судьбе. Бог для Пушкина – это вольная вышина, свобода от суетных оков.

В стихотворении Тютчева мы лишь ощущаем присутствие автора (лирического героя), хотя ни лексически, ни образно в тексте его нет. Это незримый образ, но очень внимательный, глубокий, духовными глазами созерцающий божественный мир.

Два эти стихотворения, отражая особенности индивидуального стиля поэтов, являются типичными для каждого из них, поэтому тем интереснее их перекличка. Стихотворения, написанные в пору творческой зрелости обоих поэтов, свидетельствуют об их серьезной внутренней жизни, глубокой духовности и позволяют предположить, что Бог был собеседником каждого из них.

 200 лет со дня рождения
Ф.И. ТЮТЧЕВА



ПОЭТ, ФИЛОСОФ, ДИПЛОМАТ

Г. Д. УДАЛЫХ,
кандидат филологических наук

Для многих поколений читателей Ф.И. Тютчев – прежде всего поэт, автор прекрасных стихов о природе и любви. Но он был и дипломатом, отдавшим этому роду деятельности более двадцати лет. Из-за нелюбви к казенной службе Тютчев не сделал блестящей дипломатической карьеры, но всю жизнь стремился воздействовать на ход внешней политики России, с некоторыми направлениями которой он часто бывал не согласен.

В своей литературной деятельности поэт довольно редко касался вопросов внешней политики: на эти темы он высказывался в доверительных письмах друзьям и родным. По словам И.С. Аксакова, письма

Тютчева, собранные вместе, стоили бы любого серьезного, много-
томного произведения.

Большинство писем Тютчева написано на французском. “Европеец” по образованию и многим годам жизни в Европе, Тютчев великолепно владел этим языком: он признавался, что ему легче писать и думать по-французски. Его французская речь вызывала изумление своей изысканностью, стилистической отточенностью, образностью. В письмах Тютчева прослеживается влияние французской эпистолярной традиции XVII–XVIII веков. Любопытно, что первые публицистические выступления поэта в зарубежной печати были облечены им в форму писем.

В своих письмах Тютчев давал подробный анализ политической ситуации в Европе и России, оценку внешнеполитических событий, характеристики дипломатов, общественных деятелей и государей. При этом он прибегал к неожиданным сравнениям, аллегориям: “Устранять политические выступления в России это все равно, что пытаться высечь огонь из куска мыла” (Е.Ф. Тютчевой, 5 декабря 1870); «Придет ли Россия к глубокому и полному осознанию законов своего развития, своей исторической миссии, скоро ли услышим мы от нее слова, которые произносит статуя Пигмалиона, когда из куска мрамора превращается в одушевленное существо: “это я, это тоже я, а это уже не я”» (А.Ф. Аксаковой, 4 января 1872). Известно остроумное замечание Тютчева о дипломате Горчакове: “Он незаурядная натура и с большими достоинствами, чем можно предположить по наружности. У него сливки на дне, а молоко на поверхности” (Эрн. Ф. Тютчевой, 25 мая 1857).

Довольно часто встречаются в письмах библейские сюжеты, евангельские выражения. Называя Крымскую войну “ужасной”, “шутовской бессмыслицей”, Тютчев писал: “Пока у нас все еще, как в видении Иезекииля. Поле усеяно сухими костями. Оживут ли кости сии? Ты, господи, веши! Но, конечно, для этого потребуются не менее чем дыхание бога, – дыхание бури” (Эрн. Ф. Тютчевой, 20 июня 1855). Иезекииль – третий из больших пророков, пророчествовал 22 года. Формой пророческих обличений и предсказаний Иезекииля были наглядные символические действия и поразительно величественные видения, трудные для понимания. Оживление костей человеческих – одно из двадцати двух видений Иезекииля (Грановская Л.М. Библейские имена. Словарь. Баку, 1995. С. 24–25).

В литературе существуют противоречивые суждения о религиозном сознании Тютчева, о его понимании религии. Показательно, что Тютчев переносил политические вопросы в сферу религиозную под влиянием политических и социальных потрясений, свидетелем которых он был. В эти мгновения он являл собой вдохновенного пророка и писал, что бывают моменты, когда он задыхается от своего бессиль-

ного ясновидения. Так, Тютчев предчувствовал поражение России в Крымской войне. Через много лет он писал о Парижском мире 1856 года: “Наш договор по отношению к ним (славянам. – Г.У.) слегка напоминает тот, который Господь Бог заключил с дьяволом по поводу своего верного друга и раба Иова. Он дал ему право мучить его и всячески досаждать ему, но с условием не посягать на его душу, на его жизнь” (Е.Э. Трубецкой, 6 декабря 1871). Иов – известный ветхозаветный страдалец. Книга Иова – одна из древнейших священных книг, где представлены опыты мудрости и полезнейшие уроки добродетели и благочестия. Основная идея – оправдание Бога и дел его. В основе ее положено древнейшее сказание о праведнике, которого Бог подвергает испытаниям, за что потом тот получает награду.

Символическая, иносказательная функция евангельских выражений проявлялась в подтексте, комментировалась Тютчевым. Например, во время австро-прусской войны 1868 года он писал: “Мы здесь все хлопотали и продолжаем хлопотать о мире, – но чем для нас будет этот мир, того мы понять не в состоянии. Во всяком случае, не мы при данных обстоятельствах оправдаем евангельское слово о миротворцах. Австрия, завершая все свои предыдущие позоры, решила пойти в кабалу к Наполеону” (И.С. Аксакову, 26 июня 1866). Здесь подразумевалось евангельское изречение: “Блаженны миротворцы” (Матф. 5; 9). Действительно, Австрия проиграла войну и по Пражскому мирному договору 1866 года согласилась на новое устройство Германии (без участия Австрии).

Во многих случаях обращение Тютчева к евангельским выражениям и библейским сюжетам можно объяснить стремлением к высокому, отрешенностью от повседневности. Например, в письме к дипломату И.С. Гагарину от 3 мая 1836 года он так отзывался о своем длительном пребывании в должности секретаря русской миссии в Мюнхене: “Не пишу Вам про свои служебные дела по той простой причине, по какой я никогда не читаю газетных статей, касающихся Швейцарии. Это слишком пошло и слишком скучно. Вице-канцлер хуже тестя Иакова. Тот, по крайней мере, заставил своего зятя работать только семь лет, чтобы получить Лию, для меня срок был удвоен”. Иаков, история которого рассказана в Книге Бытия, – один из великих патриархов. Он был единственным, кто дерзнул бороться с Богом в те времена, когда человека связывала с Богом только покорность. Иаков был взят в дом Лавана, брата его матери Ревекки и отца Лии, отслужил у него 14 лет, а затем, став богатым, ушел.

Благодарность к другому дипломату – П.Б. Козловскому – Тютчев выразил следующим образом: “Если верно, что дух Учителя присутствует везде, где двое собрались во имя его, то просто необходимо, князь, чтобы Вы иногда снисходили до нас в своих замыслах” (П.Б. Козловскому, 16/18 декабря 1824). Здесь Тютчев подразумевал евангельское

изречение: “Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них” (Матф. 18; 20).

Письма Тютчева не предназначались для публикации, но были словно рассчитаны на широкого читателя. Это своеобразные философские миниатюры-рассуждения: философия и политика представляли для Тютчева равноправный материал для риторического развертывания. Не случайно его называли поэтом-ритором, наследником XVIII века. Риторическая обращенность текста поддерживалась системой соответствующих средств: риторических вопросов, восклицаний, антитез, градаций: “Безусловно, достойно сожаления, что наша дипломатия в Константинополе не сумела ничего предусмотреть, и совершенно естественно возникает вопрос: какой же прок от подобной дипломатии?” – из письма А.Ф. Аксаковой от 8 сентября 1872 г.; адресуясь Эрнестине Ф. Тютчевой 20 июня 1855 г., он восклицал: “Какие люди управляют судьбами России во время одного из самых страшных потрясений (речь идет о Крымской войне. – Г.У.), когда-либо возмущавших мир!”.

Тютчев не мог оставаться безучастным к происходящим политическим событиям. Текст тютчевских писем наполняется экспрессивной лексикой: “Начало конца света”, “великая резня народов”, “публичный опыт людоедства”, “оргия крови”, – так высказывался поэт о франко-прусской войне 1866 года.

В дипломатических документах, составленных Тютчевым, в большей степени проявляется стиль литератора, нежели стиль чиновника-дипломата. Так, в наиболее значительном дипломатическом документе (депеша по вопросу о Греческом королевстве 1833 года), который довелось ему готовить, он сознательно изменил композицию. В информативной деловой бумаге, какой является дипломатическая депеша, он поместил основную (информативную) часть в заключение. Тем самым акцент был перенесен с изложения информации на ее критический анализ.

Для депеши Тютчев выбрал необычную форму изложения – философское рассуждение. Вводную часть он представил в виде аллегорической картины, образы которой не только легко узнавались, но и дополнительно раскрывались в тексте: “Волшебные сказки изображают иногда чудесную колыбель, вокруг которой собираются гении-покровители новорожденного. После того, как они одарят избранного младенца самыми благодетельными своими чарами, неминуемо является злая фея, навлекающая на колыбель ребенка какое-нибудь пагубное колдовство, имеющее свойством разрушать или портить те блестящие дары, коими только что осыпали его дружественные силы” (Проект дипломатической депеши по поводу греческих дел, составленный Ф.И. Тютчевым в 1833 году // Известия по русскому языку и словесности. Л., 1928. Т. 1. Кн. 2. С. 533).

Здесь *новорожденный* – Греческое королевство, образованное в результате национально-освободительной революции в 1829 году; *ge-*

нии-покровители – Священный союз (Россия, Англия и Франция); *колдовство* – баварское Регентство, которое управляло Греческим королевством из-за несовершеннолетия принца Оттона, сына баварского короля Людвига I; *злая фея* – сам король Людвиг I.

Далее Тютчев “разрушает” символику введением конкретных образов: “Такова, приблизительно, история греческой монархии. Нельзя не признать, что три великие державы, взлелеявшие ее под своим крылом, снабдили ее вполне приличным приданым. По какой же странной, роковой случайности выпало на долю Баварского короля сыграть при этом роль злой феи? И право, он даже слишком хорошо выполнил эту роль, снабдив новорожденную королевскую власть пагубным даром своего Регентства!” (Там же).

В дипломатической депеше используются риторические приемы, например, лексика риторического предназначения – формы превосходной степени прилагательных (*прекраснейший, наиполнейший*), существительные и прилагательные с высокой стилистической окраской (*сыны, взлелеявшие, божий, Провидение*). Рассуждение сопровождается иронической характеристикой действий Регентства: “В деле дипломатии этот порядок сделался общим для всего цивилизованного мира. Очень нужно Греческому Регентству этому порядку подчиняться! По какому-де праву требуют от него признания таких соглашений, относительно которых забыли спросить его мнение?”.

В тексте депеши преобладают элементы эмоционального воздействия: на фоне нейтральных дипломатических терминов (*трактат, посланник, дипломатические сношения, посольство*) Тютчев применяет эмоционально-окрашенную лексику (*глупость, нелепость, позор, выходка*), слова в специальном значении (*младшее правительство* – то есть недавно созданное, *бодрствовать* – контролировать, *смерть* – турецкое иго), устойчивые выражения (*подарок “на зубок”, падет позор на голову*).

Форма депеши сближает ее с притчей: вначале дается аллегорическая картина, затем урок, выведенный из нее; после этого следует наставление. Тютчев разрушает структуру дипломатического документа включением выраженного “я”, критическими замечаниями и рекомендациями: депеша завершается выводом, высказанным в категорической форме.

В условиях соперничества России с Англией за преимущественное влияние на Ближнем Востоке депеше Тютчева нельзя отказать в политической остроте: сквозь ироническое содержание вырисовывается четкая дипломатическая программа – возбудив отеческую заботливость баварского короля, фактически перенести греческое Министерство иностранных дел из столицы в Мюнхен, где оно было бы под надежным прикрытием от английского влияния.

Проект депеши о греческих делах был признан русским посланником в Мюнхене недостаточно серьезным и не был доведен до сведения чиновников в Петербурге, однако позже заслужил высокую оценку дипломатов.

Дипломатическая деятельность Тютчева определенным образом отразилась на его художественном мышлении: он использовал и по-своему переосмыслял некоторые атрибуты и понятия дипломатии. В письме к дочери поэт сравнивал уходящие ясные дни с придворным этикетом в Сардинии: “Ясные дни удаляются пятясь, словно не решаются повернуться окончательно к вам спиной – как это было принято прежде при дворе некоторых государств, например, при дворе в Сардинии, где, помню, я ретировался, пятясь, от тогдашней королевы, но, дойдя до середины громадного зала, потерял ощущение направления и, чтобы вновь обрести его, отважился повернуться к королеве спиной” (Е.Ф. Тютчевой, 22 сентября 1871).

В письме к брату, Н.И. Тютчеву, от 1 июня 1832 г. читаем: “От всего сердца поздравляю тебя по поводу возложенного на тебя поручения и искренне желаю, чтобы оно было как можно более запутанным и скучным, наподобие Лондонской конференции”. Как известно, Лондонская конференция европейских держав длилась более года (октябрь 1830 – ноябрь 1831).

Прав был И.С. Аксаков, когда называл тютчевские письма литературным сокровищем: в них раскрывается сложный облик Тютчева-поэта, собеседника, философа, политика, дипломата. “Какую драгоценную нить можно нанизать из слов, как бы бессознательно спадавших с языка его! Малейшее событие, при нем совершившееся, каждое лицо, мелькнувшее пред ним, иллюстрированы и отчеканены его ярким и метким словом”, – писал П.А. Вяземский.

*Баку,
Азербайджан*



 200 лет со дня рождения
Ф.И. ТЮТЧЕВА



“Я вспомнил время золотое...”

И. А. АУСЦЕМ

Художественный строй поэзий Тютчева формировался во взаимодействии с русской поэтической традицией XVIII века, традициями русской элегической поэзии (Батюшкова и особенно Жуковского). Несомненно, чрезвычайно важна была для Тютчева как философская глубина, так и гармоническая стройность пушкинской лирики.

Тютчеву были созвучны и философские раздумья, творческие искания Гете, Шиллера, немецких романтиков.

Во взаимодействии с этими и некоторыми другими художественными традициями и явлениями формируется особый, по своей сути преимущественно трагический, мир поэзии Тютчева.

Мир для поэта объемлется хаосом. И человек, которому суждено исчезнуть в вечной беспредельной стихии, идет к уничтожению и воспринимает его как нечто естественное: “Бесследно все, и так легко не быть!”. Тютчев видит хаос и в самом человеке: в его жизни и смерти, в любви и творчестве, в различных состояниях его души.

Личность в восприятии поэта сложна и противоречива. «Человек для Тютчева такая же тайна, как природа, но каждая личность несет свою, особенную тайну. Мир души человека исконно трагичен...

Стремясь приобщиться к гармонии, стройному величию вселенной, человек испытывает и притяжение Хаоса. Лишь на время в нем засыпают страсти, под которыми “хаос шевелится”» (Лотман Л.М. Ф.И. Тютчев // История русской литературы: В 4 т. Т. 3. Л., 1982. С. 418).

Любовь для Тютчева – почти всегда страсть, “поединок роковой”. Страсть связана со стихией ночи. Человек слепнет в ее мраке, вступает в мир хаоса. Полюбив, мы приближаемся к смерти и несем смерть:

Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.

Глубоким трагизмом отличается цикл любовных стихотворений, посвященных Е. Денисьевой. Здесь в полной мере отразилась тютчевская концепция любви. Но в любовной лирике поэта выделяются и стихотворения, запечатлевшие чувство к Амалии Лерхенфельд (в замужестве баронесса Крюденер).

Увлечение Амалией Лерхенфельд Тютчев пережил в начале 20-х годов, во время своего пребывания в Баварии. Поэтическая атмосфера Мюнхена с его древними памятниками и романтической природой предместий, гармонируя с возвышенными переживаниями, нашла отражение в лирике Тютчева. У романа была печальная развязка: на сделанное им предложение поэт получил отказ от родителей Амалии. Вскоре по их настоянию она вышла замуж за барона Крюденера. Испытанные переживания запечатлелись в стихотворении 1824 года “К.Б.” (“Твой милый взор, невинной страсти полный...”). Начавшееся сетованиями, оно завершается благодарным чувством:

Но для меня твой взор благодаянье,
Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор живет и будет жить во мне:
Он нужен ей, как небо и дыханье...

Просветленное, гармоничное мирозерцание объединяет два знаменитых стихотворения, разделенных промежутком в 34 года: “Я помню время золотое...” и “К.Б.” (“Я встретил вас – и все былое...”).

Обычно Тютчев следовал собственному правилу: не давать заглавия своим стихотворениям или, во всяком случае, скрывать адресат за условными инициалами. Стихотворению “Я встретил вас...” он предпослал инициалы “К.Б.”. Позже поэт Яков Полонский говорил о том, что Тютчев сообщил ему, кому посвящено стихотворение, и разъяснил значение сокращения “К.Б.”: это переставленные первые буквы слов “Баронесса Крюденер”.

Стихотворение “Я помню время золотое...” было написано в 1836 году, когда сам роман уже был в прошлом, но неизгладимая память о нем осталась. В восприятии лирического героя стихотворения свет и

радость, рождаемые чувством, неотделимы от красоты и поэтичности природы. Само солнце как бы благословляет все, что окружает влюбленных:

И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

Природа пребывает в состоянии мира, покоя, небесной благодати. Человек является ее частью:

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свел.

Создавая эту гармоничную картину, поэт часто использует одушевление явлений природы, которое становится одним из главных поэтических приемов: *руина замка вдаль глядит, ветер играл, река не-ла*. Светом и счастьем веет и от всего окружающего, и от молодой феи. Память лирического героя воскрешает и образ возлюбленной, и картину природы. Пейзаж тут не фон, а часть единого представления о том золотом времени.

Звучащая в конце стихотворения мысль о быстротечном времени лишена трагизма. В пережитом вспоминается то, что было возвышенно и прекрасно:

И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Определенное ощущение длящегося времени создается подбором глаголов – в стихотворении нет глаголов совершенного вида: “день вечерел”, “солнце медлило, прощаясь”, “день догорал”, “пролетала тень”. Мысль о том, что прошлое продолжает жить в памяти героя, подчеркивается анафорой:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.

“Время золотое” осталось в прошлом, но это не осознается как нечто трагическое – все воспоминания проникнуты чувством счастья.

Такое эмоциональное состояние – редкий случай в поэзии Тютчева. Обычно поэт раскрывал драматизм любви, губительность страстей и вообще жизненных бурь. “Он не мыслит счастье как спокойное существование вне бурь и борьбы. Недаром цветение весенней приро-

ды, буйство молодых ее сил он воплощал в образах грозы..., кипения и разлива весенних вод...” (Лютман Л.М. Указ. соч. С. 420).

В изображении природы в этом стихотворении Тютчев наиболее близок к Жуковскому, создавшему возвышенно-гармонический образ мира. У Жуковского любовь часто неотделима от картин природы и неизменно передается с просветленным чувством. Ощущение красоты, тишины, гармонии пронизывает его стихотворения “К мимопролетевшему знакомому гению”, “Я музу юную, былую...”, “Привидение”. Они вобрали в себя наиболее характерные черты поэтики Жуковского, в том числе определенный подбор эпитетов, оказавшийся очень близким Тютчеву. Стихотворение “Я помню время золотое...” перекликается и с пушкинской традицией. Связь лирики Тютчева с поэтическими формами, разработанными Пушкиным, отмечал еще И.С. Тургенев: “Самый язык г. Тютчева часто поражает читателя смелой смелостью и почти пушкинской красотой своих оборотов” (Тургенев И.С. Несколько слов о стихотворениях Ф.И. Тютчева // Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 11. С. 166).

Как мысли и чувства, так и форма стихотворения 1836 года, отзвучат много позже, в стихотворении “Я встретил вас – и все былое...”, которое было написано в 1870 году, после первой встречи с Амалией Лерхенфельд, теперь ставшей графиней Адлерберг. Несколько позже, когда Тютчев был уже смертельно болен, произошло еще одно свидание с ней. О значении этих встреч с некогда любимой женщиной поэт написал своей дочери: “В ее лице прошлое лучших лет явилось дать мне прощальный поцелуй” (Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1988. С. 324–325).

За время, разделяющее два стихотворения, было пережито много тяжелых утрат. Поэт чувствовал, что его жизнь приближается к концу, но произошла столь отрадная для него встреча – и прошлое живо напомнило о себе. О возможности подобных проблесков счастья в человеческой судьбе он размышлял в стихотворении 1849 года “Когда в кругу убийственных забот...”. Жизнь полна тревог, переживаний, на пути человека бывают лишь отдельные мгновения счастья:

Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.

Стихотворение “Я встретил вас...” содержит реминисценцию:

Я вспомнил время золотое –
И сердцу стало так тепло...

Лирический герой стихотворения “Я встретил вас...” – уже не тот юноша, чувства которого запечатлены в стихотворении, созданном

более трех десятилетий назад. Все пережитое его изменило. Он говорит о своем “отжившем сердце”. Настоящее для него подобно осени, прошедшее – весне. Прежнего чувства гармонии с миром уже нет. Не случайно в этом стихотворении отсутствует пейзаж (упоминание об осени и весне символично и не дает развернутой картины).

Стихотворение воспроизводит постепенное погружение человека в воспоминания. В некогда любимой женщине – то же очарование, по-прежнему имеющее власть над сердцем. Исчезают прожитые годы, снова приходит испытанное в молодости чувство... Примечательно, что в стихотворении преобладают поэтизмы, передающие возвращающееся чувство молодости и счастья: *душевная полнота, забытое упоенье, милые черты* и др.

Если в стихотворении “Я помню время золотое...” встречаются только глаголы несовершенного вида, то в стихотворении “Я встретил вас...” преобладают глаголы совершенного вида: *встретил, ожило, вспомнил, стало, заговорила*. Искусное использование глагольных форм создает ощущение длящегося времени и постепенно возвращающегося чувства (“смотрю на милые черты”, “гляжу на вас”).

В стихотворении “Я встретил вас...” возникает не только осмысление своего жизненного пути, но и закономерностей течения человеческой жизни вообще, и для отражения этого также используются глагольные формы:

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас...

Стихотворение “Я встретил вас...” построено на анафоре. Поэт использует предложения одной структуры и, к тому же, начинающиеся одним и тем же местоимением: “Я встретил”, “Я вспомнил”. С помощью анафоры передается значимость происходящей в душе лирического героя перемены, смысл которой отражается в последней строфе стихотворения, где снова появляется анафора:

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, –
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!

Стихотворение завершается двумя неполными предложениями с интонацией восклицания, которая передает овладевшее героем ощущение счастья.

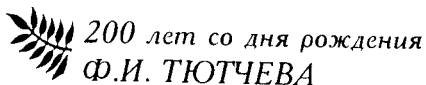
Возвращение лирического героя к прежнему эмоциональному состоянию воссоздается обращением к поэтике, характерной для стихо-

творения 1836 года, и к тому же размеру – оба стихотворения написаны четырехстопным ямбом. Поэтика же связана с традициями допушкинской и пушкинской лирической поэзии. В пятидесятые годы в любовной лирике Тютчева вырабатывается уже другая стилистика, черты которой столь ярко проявились в “денисьевском” цикле.

Если в любовной лирике Жуковского и Пушкина запечатлелось чувство, просветляющее душу человека и возвышающее его над реальностью, то Тютчев “глубоко человеческую сущность любви раскрывает через изображение губительной, внутренне конфликтной, роковой страсти” (Лотман Л.М. Указ. соч. С. 423). Последствия этой страсти трагичны, поэт отражает и ее мучительное медленное угасание, “боль без отрады и без слез”.

Подобное понимание любви потребовало и совершенно иной поэтики. В любовных стихотворениях Тютчева, созданных в 50–60-е годы, за повествовательной простотой стоит острый драматизм переживаний. Образ любимой женщины подается “крупным планом”, которого прежняя поэтическая традиция не знала. Подобная художественная манера в эти годы характерна для любовной лирики Н.А. Некрасова. При всей разности мировоззрений, при столь разном понимании чувства, поэты пришли к схожим поэтическим приемам, что, очевидно, обусловлено внутренними закономерностями литературного развития. Но в стихотворении “К.Б.” Тютчев вновь обращается к той поэтической традиции, которая оказалась ему близкой в более ранние годы. Вернулось чувство, ожило прежнее мироощущение, и муза заговорила прежним языком.





Тютчевские мотивы в творчестве Вяч. Иванова

А. Г. ГРЕК,

кандидат филологических наук

В одной из своих поздних статей Вяч. Иванов подчеркивает роль Тютчева в развитии символизма в России. Его наследие, как и творчество Достоевского, представляет собой, по словам теоретика и практика русского символизма, отечественный клад “подлинного реалистического символизма” (Символизм // Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель. Т. I. С. 712). Воздействие Тютчева на Вяч. Иванова было огромным. Не кажется преувеличением мнение, что “без Тютчева просто невозможна поэтическая дикция самого Вяч. Иванова” (Аверинцев С.С. Вяч. Иванов и русская литературная традиция // Связь времен: Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала XX века. М., 1992. С. 304).

Каноничность имени Тютчева и его поэзии для Иванова обнаруживает себя в многочисленных ссылках, в цитировании концептуально важных для символиста строк из Тютчева, в следовании за ним, в какой-то органической близости к нему. Это можно видеть в литературно-критических статьях Иванова, об этом ярко свидетельствует и его поэтическое творчество. В этом же ряду стоят и такие оценки Тютчева, как “умница” (в одном из разговоров с М. Альтманом) и “нежный” (в одном из стихотворений “Римского дневника 1944 года”).

Из ранних статей Иванова, где упоминается и цитируется Тютчев, обращают на себя внимание “Поэт и чернь” (1904 г.) и “Символика эстетических начал” (1905 г.). Первая статья посвящена поднятой Пушкиным проблеме взаимоотношения народа и художника, конфликту толпы и певца. “Тютчев, – пишет Иванов, – был у нас первою жертвою непоправимо свершившегося. Толпа не расслышала сладчайших звуков, углубленнейших молитв”. Иванов ставит Тютчеву в заслугу “подвиг поэтического молчания”. “Оттого, – пишет он далее, – так мало его (Тютчева. – А.Г.) стихов, и его немногие слова многозначительны и загадочны, как некие тайные знамения великой и несказанной музыки духа”. Здесь же, давая определение истинного символизма как искусства, главной чертой которого является мифотворчество, Иванов приводит из стихотворения “Эти бедные селенья...” стихи Тютчева, в которых узнает себя христианская душа русского народа: “Удру-

ченный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь небесный Исходил, благословляя”.

В статье “Символика эстетических начал” (1905 г.) Вяч. Иванов обращается к тем стихотворениям Тютчева, в которых находит подтверждение своим размышлениям о творческом процессе художника как “восхождении” и “нисхождении”. Так, например, момент “восхождения”, когда “совершается видимое изменение, претворение восходящего от земли и земле родного”, он видит запечатленным в тютчевских строках о радуге и горе Монблан в стихотворении “Как неожиданно и ярко...”:

Она полнеба обхватила
И в высоте – изнемогла.

А также в стихотворении “Утихла биза... Легче дышит ...”:

А там, в торжественном покое,
Разоблаченная с утра,
Сияет Белая Гора,
Как откровенье неземное.

Близость поэтического мировосприятия Вяч. Иванова, символистского по своей сути, тютчевскому – предсимволистскому, обнаруживает себя в мифологизме и пророческом ясновидении. На эти важные особенности поэзии Тютчева обращает внимание Ю.М. Лотман (Лотман Ю.М. Спецкурс: Русская философская лирика. Творчество Тютчева // Тютчевский сборник II. Тарту, 1999). Взаимопроникнутость поэтического и мифологического начал в поэзии Тютчева (“Все во мне, и я во всем...”) позволяет В.Н. Топорову говорить о характерном для этой поэзии мифопоэтическом комплексе (Топоров В.Н. Заметки о поэзии Тютчева (Еще раз о связях с немецким романтизмом и шеллингианством) // Тютчевский сб. Таллинн, 1990. С. 91).

Мифологичность, по словам Лотмана, достигается у Тютчева широкими отсылками к мифологическим текстам. Мифологизм поэзии Иванова обусловлен его особым отношением к мифу, о чем сам он в одном из разговоров с Альтманом сказал так: “Я... быть может, как никто из моих современников живу в мифе – вот в чем моя сила...” (Альтман М. Разговоры с Вяч. Ивановым. СПб., 1995. С. 61).

Чтобы увидеть близость и отличие мифологичности Тютчева от поэтической мифологии Вяч. Иванова, уместно обратиться к соотносительным по характеру образности фрагментам из творчества обоих поэтов. Приведем сначала три тютчевских – с мифологичным компонентом в структуре лирического сюжета: “Но меркнет день – настала ночь; Пришла – и с мира рокового Ткань благодатную покрова, Сорвав, отбрасывает прочь ...” (“День и ночь”); “И всю природу, как ту-

ман, Дремота жаркая объемлет, И сам теперь великий пан В пещере нимф покойно дремлет” (“Полдень”); “О рьяный конь, о конь морской, С бледно-зеленой гривой, То смиренный, ласково-ручной, То бешено-игривый!” (“Конь морской”).

Иначе представлены сходные мифологические образы (Ночь, пан и нимфы, конь морской) в поэзии Вяч. Иванова. Так, 10-строфное стихотворение “Ночь” (сб. “Кормчие Звезды”) строится как мифологически развернутый диалогический сюжет: «И снова миг у Вечности, у темной, Отъемлет Свет; И Матерь-Ночь ему, в тоске истомной: “Мне мира нет!...”». Следующие два примера подчеркивают эту характерную для Иванова закономерность – творческое воссоздание мифа и отношение к мифу как к реальнейшему и истинному бытию поэта лирического, объективной правде о сущем: “Гром набега... Гул пого-ни... / Кинув синие луга, / Знаю – то морские кони потрясают берега... // Дальний ропот океана / Чутко внемлет тишина... / Нас несет Левиафана/Укрощенного спина!” (“В челне по морю”. II, сб. “Кормчие Звезды”); “Я – Полдня вещего крылатая Печаль. / Я грезой нисхожу к виденьям сонным Пана: / И отлетевшего ему чего-то жаль, / И безотзывное – в Элизии тумана” (“Печаль Полдня”, сб. “Прозрачность”).

Анализ сновидения – факт личной биографии Тютчева, внимание к этому привлекает Ю.М. Лотман, приводя в своем спецкурсе одно из пророческих видений поэта 9 сент. 1855 г., которое отразилось в его поэзии. По словам В.Н. Топорова, пророческий дар поэта проявляется в “сверхпроводимости” тютчевского космоса “между роковой бездной и нашим миром, между настоящим и будущим, между природой и я” (Топоров. Указ. соч. С. 90–91). Среди ярких сигналов, обнаруживающих этот дар в его творчестве, выступает сон и синонимичные ему слова, а также повторы *пророчески* – в составе сложных прилагательных: *пророчески-слепой*, *пророчески-прощальный*, сон *пророчески-неясный*. Эти элементы поэтического текста входят в общую систему тютчевских повторов, о которых писал Л.В. Пумпянский – автор одной из лучших статей о Тютчеве (Поэзия Ф. Тютчева // Урания. Тютчевский альманах. Л. 1928).

Характер сновидений в поэзии Тютчева может быть рассмотрен на примере ряда контекстов. Так, о “всезрящем сне” морской стихии поэт говорит в стихотворении “Лебедь”, а связь его пророческих снов с божественным началом, космизм и мистика ночных снов запечатлены в стихотворениях “Видение” и “Сон на море”: “Лишь Музы девственную душу В пророческих тревожат боги снах!”; “И море и буря качали наш челн; Я, сонный, был предан всей прихоти волн (<...> Но над хаосом звуков носился мой сон, Блужденно-яркий, волшебно-немой... И в тихую область видений и снов Врывалася пена ревущих валов”.

Тютчев чувствует зыбкость и условность границ между сном и явью: “Что это? Сон иль ожиданье, И близок день или далек?... Во сне

ль все это снится мне, Или гляжу я в самом деле...". Поэт видит сны как в мире природном, так и духовном: "Здесь, погрузившись в сон железный, Усталая природа спит"; "Нивы дремлющие зреют... Усыпительно-безмолвны"; "Когда полуночь ненароком, Дремавших струн встревожит сон? О, как тогда с земного круга Душой к бессмертному летим!".

Всезрящему сну, пророческим снам, радужным снам, золотым снам, доброму сну у Тютчева противопоставляются *тяжелые, смертные сны: утомительные сны, сновиденье безобразное, сон болезненно-яркий, замогильный сон, безотрадный сон*. Всякий сон, но в особенности радужные сны, воспринимаются поэтом в сравнении и по контрасту с нашей жизнью повседневной. Это сны проникновения "в край незнакомый, в мир волшебный, И чуждый нам", где "в чистом пламенном эфире Душе так родственно легко".

Одна из устойчивых параллелей сна у Тютчева – любовь: "Любовь есть сон, а сон – одно мгновение." Характерно-тютчевский контекст о снах мира и его собственных снах находим в стихотворении "По равнине вод лазурной...":

Сны играют на просторе
Под магической луной
И баюкает их море
Тихоструйною волной.

В сновидчестве Вяч. Иванова проявился не просто дар личности, но и воспринятое из античности, а также из поэтической визионерной традиции средневековья (Данте, Петрарка) и немецких романтиков, из английской и русской поэзии представление о сне как особом состоянии, в котором открывается мир духовный, прошлое становится близким, а будущее открытым, о чем пишет сам поэт в статье "Символика эстетических начал". Со сновидениями Иванов сближал поэтические мечтанья, вообще художественное творчество: "Ведет тропа святая в заоблачные сны" – это заключительные строки из стихотворения "Поэты Духа" (сб. "Прозрачность"). Через все творчество поэта проходит параллель *жизнь – сон*, но отношение к этой формуле, воплощаемой в каждом новом стихотворении по-разному, эволюционирует, отражая изменения мировосприятия автора. Символика сна, своеобразие его пространственно-временных признаков – важнейшая особенность поэтики Иванова. Вот как изображает он одно из своих духовных путешествий в стихотворении "Воплощение" (сб. "Кормчие Звезды"):

Мне снился сон: летел я в мир подлунный,
Неживший дух.
И хор планет гармоньей семиструнной
Ласкал мой слух...

А вот стихотворение “Зеркало Эроса” (ему предпослан эпиграф из английского поэта и художника, тоже сновидца, Джона-Г. Россети): “Нам снится: Мирообъятным/ Лоном любви – / То море внизу / И облак тьмы, / Ветрила трепет / Злато зари – / И Брезжащий брег- / Мы держим, бессмертные боги...”

Пророческие видения, всезрящий сон, вещая дремота Тютчева обнаруживают соотносительность с *вещими* и *зрящими* снами Иванова, которые многократно встречаются в его поэтических текстах. Так, в одном только цикле “Золотые завесы” (сб. “Cor Ardens”) трижды употреблен образ вещего сна. *Вещий* и *сон* сближаются в поэме “Сон Мелампа”, которая посвящена М. Волошину. Меламп получает от змей дар целителя и становится *боговещим* во время сна.

О “густоте” слов с семантикой сна у Иванова можно судить также по циклу “Золотые завесы”, в котором их более десятка. Кроме трижды употребленного *вещего сна*, здесь встречается *озерный сон*, а также сон, который сравнивается с *огнеязычным свитком*. “Сновидческий” характер цикла делает убедительным появление в нем Эрота – бога любви у древних греков: “Лучами стрел Эрот меня пронзил... Во сне предстал мне наг и смугл Эрот ... Двоих Эрот к неведомым пределам На окрыленных носит раменах...”. Сон сближается с мглой и грезой (*в сонной мгле, в грезде сонной*), а также характеризуется как *обманный мир, мечтаний мир ночной*. Среди ярких сновидческих текстов Иванова с образами спящего природного мира – стихотворение “Лунные Розы” (“Кормчие Звезды”): “Спят ключи на скалистой груди, Спят луга бледноликих лилией”; стихотворение “Загорье” (“Cor Ardens”): “Здесь тихая душа затаена в дубравах И зыблет колыбель растительного сна”.

О богатстве, разнообразии, яркости и многоцветной выразительности поэтических снов Иванова свидетельствует словарь эпитетов при них: *алые, безбрежий, белоснежный, белый, вечеровые, глубокий, голубые, живой, звездный, знойный, золотой, легкий, крылатый, лилейный, неусыпимый, светлый, священный, смутный, сребролонные, озерный, опьяняющие, растительный, родные, старинные, упоительны, целительный*.

Снов с “отрицательным знаком” у Иванова значительно меньше. Среди них: *горькие сны, морок сна, саркофаги сна*. Размытость границ между сном и явью в его поэзии выражается различными языковыми средствами, в том числе и конструкцией с однородным рядом номинативов, разделенных союзом *или* (“То жизнь – иль сон предутренний, когда Свежеет воздух, остужая ложе”), а также глаголами при слове *сон*: *редет, тает*.

С.С. Аверинцев, сравнивая тютчевскую “Уранию” и ивановское стихотворение “Герпандр”, в числе элементов, обнаруживающих близость их поэтики и архаичной стилистики, называет сложные прила-

гательные. На тот факт, что одним из источников столь характерных для поэзии Тютчева сложных прилагательных была поэзия немецких романтиков, вообще немецкий язык, обращает внимание В.Н. Топоров (Указ. соч. С. 106). Для поэзии Иванова, который много лет провел в Германии и прекрасно владел немецким, переводил Новалиса – одного из тех романтиков, кто влиял на поэзию Тютчева, этот источник, наряду с церковнославянским и греческим, был не менее важным.

Слой архаичных сложных прилагательных обнаруживает у обоих поэтов дословные совпадения. Индивидуально-авторское начало проявляется в характере сочетаемости этих прилагательных с именами существительными, приведем эти параллели у Тютчева и Иванова: *воздух благовонный – благовонный дух; светозарный месяц, светозарный бог (о месяце) – светозарный храм, потоки светозарные, взморье светозарное, престол светозарный; всезрящий сон – всезрящий хмель* и др.

Необычная для литературного языка интенсивность употребления сложных прилагательных в контекстах, как уже отмечалось, и в том, и в другом случае могут быть связаны с немецким языком и поэтической традицией немецких романтиков. Семантически, если иметь в виду оппозицию “положительный–отрицательный” или “полнота/интенсивность–лишительность”, сложные прилагательные этой группы у обоих поэтов, за исключением единичных случаев, резко различны.

Так, большая часть прилагательных в языке Тютчева содержит компонент умаления, или ухудшения качественного признака, иногда – отрицательную семантику, ср.: *пророчески-слепой, пророчески-прощальный, болезненно-греховный, болезненно-яркий, усыпительно-безмолвны, удушливо-земное, грустно-сиротеющий, блаженно-равнодушный, волшебнo-немой, тревожно-пустой, безлюдно-величавый, пасмурно-багровый, гордо-боязлив*.

У Иванова, наоборот, доминируют прилагательные с положительным качественным признаком в семантике одного или обоих компонентов. Большой частью эти прилагательные имеют значение предельной полноты, силы, интенсивности проявления признакового значения: *алмазно-блещущий, властительно-напевна, целительно-могуч, кристально-яркий, весенне-ясен, ярко-властен, сине-блещущий, пленительно-нежны, улыбчиво-нежны, беспечно-горячи*.

Под впечатлением тютчевского “Silentium!” написано стихотворение Иванова “Молчание” (сб. “Cor Ardens”). У сравниваемых стихотворений одинаковые заглавия, если отвлечься от его латинской формы и эмоциональной окрашенности у Тютчева. Оба стихотворения в “сгущенном” виде содержат повторы обозначенной заглавием темы, организуясь императивно-вокативным грамматическим каркасом и имея диалогическую направленность, для обоих характерен принцип антитестического построения.

Близость темы, сходство построения этих двух стихотворений не отменяет существенных различий между ними в смыслах, языковой организации, звучании.

Стихотворение Тютчева содержит четыре однообразных, но под влиянием контекста по-разному звучащих повтора глагола *молчи*. Императивные формы употреблены в сильных стиховых позициях: в начале стихотворения и в конце каждой из трех его строф. Они как бы “пронизывают” все стихотворение, “высвечивая” его основной смысл: призыв к молчанию тогда, когда слово неадекватно чувству, когда его понимание другими неточно или ложно: “Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь”. Этот призыв поэт обращает к самому себе, к глубинам своего “я”: “Молчи, скрывайся и тай... Любуйся ими – и молчи... Питайся ими – и молчи... Внимай их пенью – и молчи!..”.

В стихотворении Иванова обращает на себя внимание лексико-семантическое разнообразие повторов, выражающих основную тему – молчания, тишины: *тайник богатой тишины, своды тишины; неизреченного молчанья, порыв... безглагольный, души безмолвным небесам*. В самом его начале заявлен антитетический принцип построения мысли и фразы: *В тайник богатой тишины От этих кланов и бряцаний*. Смысловой и композиционный каркас стихотворения составляют распространенные номинативы-обращения и глагольные формы. Обращения с характеризующим значением называют ту, которой посвящено стихотворение (Л.Д. Зиновьевой-Аннибал), – *Подруга чистых созерцаний, соизбранница венчанья, Сивилла со свечою смольной*. Совместность их молчания как духовного деланья подчеркнута в тексте глагольными формами I л.мн. ч. с желательно-призывной модальностью: *“Сойдем – под своды тишины... Откроем души голосам... Доверим крылья небесам!.. Порыв доверим безглагольный!.. О, предадим порыв безвольный Души безмолвным небесам!”*.

Выход лирического “я” в стихотворении Иванова за пределы своей личности, открытость другому “я” и трансцендентному божественному началу в молчании резко отличает этот текст от столь схожего с ним тютчевского и имеет по отношению к последнему полемическую направленность.

Луганск,
Украина



“Как все это волнует меня!”

О романтическом в мироощущении И.А. Бунина

Т. Г. ДМИТРИЕВА,
кандидат филологических наук

Многие ранние и лучшие рассказы И.А. Бунина, а также роман “Жизнь Арсеньева” проникнуты романтическим мироощущением, непосредственным лиризмом, при котором совпадают восприятие повествователя и прямое выражение авторской мысли.

Этот возвышенный, напряженно-эмоциональный, страстный лиризм отражается в лексике в синтаксическом облике прозы Бунина.

Экстатическое душевное состояние, выражающееся словом *восторг*, персонажи Бунина испытывают по самым различным поводам: “Все вдруг превращается в какой-то сплошной *восторг*, от которого деревенеет голова, плечи, ноги” (“Преображение”; курсив здесь и далее наш. – Т.Д.); “Я смотрел на нее с *восторгом* безумия” (“Осенью”); “ахнул от *восторга*, взглянув на сад” (“Суходол”); “Он замахал ей картузом с неистовым *восторгом*” (“Митина любовь”); “как он мучительно и *вос-*

торженно любит ее" ("Солнечный удар"); "За всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле, – а я видел многое! – такого *восторга*, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы" ("Жизнь Арсеньева").

В автобиографическом романе "Жизнь Арсеньева" герой признается в этом возвышенном строе души: "– Ты часто говоришь – *восхищает, восхищение*", – замечает Лика. "– Жизнь и должна быть *восхищением*", – отвечает Арсеньев. Эти чувства восторга, восхищения выражают и эмоционально окрашенные предложения с междометием *ах*: "Ах, как я люблю и буду любить ее!"; "Ах, какая томящая красота!"; "Ах, как опять мучительно-радостно: тройной клубничный нос!" ("Жизнь Арсеньева"); "Ах, как хороши они были!" ("Далекое"); "Ах, как хороша ты была! Как горяча, как прекрасна!" ("Темные аллеи"); "Ах, этот крестьянский запах ее головы, дыхания, яблочный холодок ее щеки!" ("Таня").

Проникнутая ностальгией повесть "Антоновские яблоки" изобилует оценочными восклицаниями: "Как холодно, росисто и как *хорошо* жить на свете! (...) так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! (...) *Хорошие* девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! (...) Но *хороша* и эта нищая мелкопоместная жизнь". В этих восклицательных предложениях используются указательные и определительные местоимения: "О, *какая* жестокая, светлая пустота была в мире..."; "...чувства, которым суждено было владеть мною с *такой* силою" ("Жизнь Арсеньева"); "И он почувствовал *такую* боль и *такую* ненужность всей своей дальнейшей жизни, что его охватил ужас, отчаяние" ("Солнечный удар").

Слова *как* и *так* подчеркивают степень проявления признака, действия: "Как он мог, уезжая, вспоминать ее только случайно (...) *как* он мог любить других..." ("Таня"); "И как горестно-нежно звенела в бурьяне своей коротенькой песенкой овсянка!"; "Как изнемогала душа от восторженной нежности к ней!" ("Жизнь Арсеньева"); "Как вы меня любите!" ("Чистый понедельник"). "Я, братец, *так* люблю ее, что даже боюсь своей любви!" ("Сны Чанга"); "...И как только вошли и лакей затворил дверь, поручик *так* прерывисто кинулся к ней и оба *так* иступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту" ("Солнечный удар").

Исключительная сила чувства выражается и с помощью отрицательных местоимений и наречий: "Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому *никогда*" ("Жизнь Арсеньева"); "– И ни на ком *никогда* не женитесь? – Ни на ком, *никогда*!" ("Таня"); "Когда кого любишь, *никакими* силами *никто* не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь" ("Сны Чанга"). "Бунинская любовь", – пишет исследователь творчества писателя Ю. Мальцев, – это

«именно древний неистовый “пафос”, захватывающий всё существо» (Мальцев Ю. Иван Бунин. М., 1994, С. 218).

В любви душа стремится к обретению идеала: “Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной”, – говорится в старинной книге “Грамматика любви” из одноименного рассказа Бунина. И рассказчик понимает: неважно, какова была реальная Лушка, важна любовь Ивлева: “И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что зарябило в глазах от сердцебиения”.

Романтическая неутолимая жажда любви свойственна и женской душе: “*Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жадной любви и которые от этого от самого никогда и никого не любят*” (курсив Бунина. – Т.Д.). В этом рассказе облик жены капитана рисуется в соответствующих романтических красках: “Стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна”.

Справедливо замечает Ю. Мальцев, что “для Бунина поэзия и красота любви, возвышающие душу, даже если они обман, все-таки, не смотря ни на что, сами по себе являют нечто настолько чудесное и чарующее, что достойны быть признаны одним из лучших даров жизни” (Мальцев Ю. Указ. соч. С. 221).

Любовь представляет собой великую тайну – этим ощущением Бунин наделяет даже простых крестьянских девушек: Наталью из “Суходола”, “создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость” между красавцем барчуком и собой, она живет, “очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в аленьком цветочке”; горничную Таню из одноименного рассказа: “это был тот, с кем она, в некий срок, впервые должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости”. Мечтает о такой же любви юная Парашка, “очарованная смутной думой о том, как погубит, как увезет ее куда-то в даль молодой мещанин” (“При дороге”). Такой же юношеской мечтательностью и восторженностью отличается герой “Жизни Арсеньева”: “Что-то сладко и таинственно сжимало мне грудь”.

Очарованность миром, восторженное впитывание его “всей душевной и телесной восприимчивостью”, были свойственны Бунину с юности, в чем он признается в “Жизни Арсеньева”: “мне все доставляло удивительное наслаждение”. Его всегда волновала “жутко-сладкая тайна любви и смерти” (Ю. Мальцев). Поэтому так часто встречаются в его рассказах слова *сладкий, сладко*: “И опять почувствовал он [Аверкий] на мгновение: *сладка жизнь!*”; (“Худая трава”); “*сладко* пели птицы в кустах, в *сладкой* истоке замирали на горячих дорожках бабочки” (“Деревня”).

Восприятие мира в его трагической противоречивости находит свое отражение в оксюморонных сочетаниях: “замирал в *сладком*

ужасе”; “какая-то *сладкая и горькая* грусть” (“Жизнь Арсеньева”); “в том *сладком и горьком* сне прошлого” (“Далекое”); “*сладкая* и странная *тоска*” (“Антоновские яблоки”); “Это было очень *страшно*, но тем *слаще*” (“Таня”); “дрожит от непонятого восторга, от какой-то *сладкой муки*” (“Сны Чанга”). *Сладким* у Бунина может быть любое сильное чувство – страх, тоска, мука, ужас.

Тоской по *сладкому и горькому* сну *прошлого* проникнуты многие рассказы писателя, в особенности “Антоновские яблоки”, весь роман “Жизнь Арсеньева”. “Дух этой среды, – говорит Бунин, – романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах”.

Воссоздавая “старинную мечтательную жизнь”, Бунин обращается к традиционным образам романтизма: “и замелькают перед глазами старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки ... а вот и журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина” (“Антоновские яблоки”). Исследователи романтизма замечают, что в “Антоновских яблоках” “особенно явно звучат романтические ноты, поэтизация прошлого {...} В рассказе часто возникает романтический пейзаж {...} Описание прошлого дается Буниным в субъективном плане. На первое место выступает оценочный момент” (Русский романтизм. М., 1974. С. 338).

Романтическим мироощущением юноши наполнен роман “Жизнь Арсеньева”, в котором субъективно-лирическую ноту вносит уже само повествование от первого лица. Как и всех романтиков, героев Бунина влечет прошлое, которое представляется таинственным и чудесным: “С тех пор Полоцк тех времен всегда представлялся мне совершенно *чудесным* в своей древности и грубости {...} Когда я наконец попал в действительный Полоцк, я, разумеется, не нашел в нем ни малейшего подобия выдуманному. И все-таки во мне и до сих пор два Полоцка – тот, выдуманный, и действительный. И этот действительный я тоже вижу теперь уже поэтически”, – признается писатель в “Жизни Арсеньева”.

Но самым чудесным и таинственным, что делает жизнь *великолепной вещью*, является попытка выразить “все впечатленья бытия” в словах. Вначале юная душа мучается: “ни единым словом не умел я их передать, выразить”. Эти образы *безмолвны*, но навсегда запечатлеваются в детском сознании, вызывая восхищение красотой мира: “Теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, – и, боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть!” (“Жизнь Арсеньева”). Здесь Бунин приближается к попытке “прекрасное в полете удержать” (Жуковский), передать ощущение восторга от мимолетной, ускользающей красоты, что пытались делать поэты-романтики XIX века.

Юный Арсеньев, как и повествователь в “Антоновских яблоках”, очарован русской литературой: *колдовским прологом* к “Руслану и

Людмиле”, Гоголем с его “Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!”. Но более всего он ощущает свое духовное родство с Лермонтовым: «Да, вот Кропотовка, этот забытый дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно-грустных и неизъяснимых чувств... Вот бедная колыбель его, наша общая с ним, вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня некогда, томилась его младенческая душа, “желанием чудным полна”».

Роман посвящен поиску “неуловимого счастья”. Герой пытается постичь тайный смысл своей жизни: «что-то главное, что уже никак нельзя уловить и выразить, и – связанное с ним вечное ожидание: ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем (когда настанет оно) эта суть, этот смысл вдруг наконец обнаружится. “Вы, как говорится в оракулах, слишком вдалеке простираетесь...” И впрямь: втайне я весь простирался в нее...».

Герой пускается в странствия, так объясняя эту потребность Лике: “Люди постоянно ждут чего-нибудь счастливого, интересного, мечтают о какой-нибудь радости, о каком-нибудь событии. Этим влечет и дорога. Потом воля, простор... новизна, которая всегда празднична, повышает чувство жизни, а ведь все мы только этого и хотим, ищем во всяком сильном чувстве”.

Но обостренная жажда счастья (в рассказе “Сны Чанга” капитан говорит: “Уж очень я жаден до счастья”) приносит страдания или ведет к гибели.

Романтичность мироощущения Бунина выражается в особом характере лиризма, в очарованности “старинной мечтательной жизнью”, в ощущении катастрофичности, противоречивости и загадочности жизни (“Жутко жить на свете... очень хорошо, а жутко”), в постоянной потребности в счастье, которой он наделяет своих героев.

Стиль Бунина-прозаика можно охарактеризовать его же собственными словами из “Жизни Арсеньева”: он соединяет “трезвую зоркость глаза и певучую романтичность сердца”.

В.И. Даль. “Не стыдно ль вам!”

С каждым годом достояние отечественной словесности пополняется стихотворениями В.И. Даля, обнаруженными в различных архивохранилищах. И каждая новая находка все более убеждает в незаурядном поэтическом мастерстве и активной гражданской позиции непревзойденного знатока русского языка. Правда, сам В.И. Даль не стремился к обнародованию своей лирики. Единственным известным к настоящему времени исключением является публикуемый далее текст.

Стихотворение “Не стыдно ль вам!” хранится в Рукописном отделе Российской Национальной библиотеки в составе архива А.А. Краевского (Ф. 391. Ед. хр. 22) и представляет собой беловую писарскую копию на двух листах. Над заглавием Даль надписал карандашом: “Прошу покорнейше передать Кн (язю) В.Ф. Одоевскому, или Краевскому, для помещения в Лит (ературных) прибавл(ениях)”. (Напомним, в 1837–1839 гг. Одоевский и Краевский были соредакторами «Литературных прибавлений к “Русскому инвалиду”»). К самому заглавию дальной рукой сделано примечание чернилами с проставленной в круглых скобках звездочкой: “Статья, написанная в свое время, но запоздавшая несколько в печати”. Те же особенности почерка, включая толщину пера и оттенок чернил, присущи вставке в шестой строке *для вас* (перед *оно*), тире в седьмой и подписи в конце: *В. Луганский*.

Даль тщательно работал над стихотворением, о чем свидетельствует густо испещренный поправками черновой автограф, находящийся в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. В целом, верхний слой текста, кроме мелких разночтений, соответствует авторизованной писарской копии из архива Краевского. Вероятнее всего, копия и была сделана на основании этого черновика. Здесь слева от заглавия имеются две хронологические пометы: “Послать Наблюдателю, 1837, 22 марта” и ниже – “через Башуцкого, в Лит(ературные) приб(авления) 1837 24^{го} июня” (Ф. 27. 492. Л. 1).

Неизвестно, было ли представлено стихотворение в “Московский наблюдатель”, но в журнале оно не появилось. Возможно, из-за цензурных затруднений. Во всяком случае, в июле 1837 г. в “Московском наблюдателе”, где Даль иногда публиковался, на с. 5 (Ч. XIII. Кн. I) под заглавием “Два рассказа или Болгарка и Подолянка” была помещена только повесть “Болгарка”. И хотя в ее конце на с. 40 следовали подпись *В. Луганский* и извещение *Подолянка обещана*, на самом деле повесть “Подолянка” увидела свет лишь через два года в “Современнике” (1839. Т. 13).

Что касается второй пометы, то Даль сообщал в письме к Краевскому от 1 сентября 1837 г. из Оренбурга: “Через Башуцкого же, 24 июня, послал вам преполитическое стихотворение: Не стыдно ль вам, которого вероятно нельзя будет напечатать” (РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 318. Л. 2). А ранее в письме к нему от 30 июня из Уральска вопрошал: «А “Не стыдно ль Вам” вероятно нельзя было напечатать?» (Там же. Л. 1. об.).

По всей видимости, в обоих письмах речь идет о публикуемой нами авторизованной писарской копии, а вышеприведенная далевская просьба о передаче ее в редакцию “Литературных прибавлений”, надо полагать, обращена к А.П. Башуцкому. И хотя после некоторой задержки стихи все же оказались у Краевского (на первом листе письма к Краевскому от 1 сентября поверху слева имеется помета о получении В.Ф. Одоевским 8 сентября 1837 г. переданных ему через Башуцкого Далем произведений, в том числе и стихотворения “Не стыдно ль вам!”), в газете они напечатаны не были. Тем самым опасения Даля о возможных цензурных препятствиях, к сожалению, подтвердились.

“Преполитическое стихотворение” обличает придворную космополитическую камарилью, причастную к гибели Пушкина. Впервые подобное понимание текста было высказано лет десять тому назад авторитетным пушкинистом С.А. Фомичевым в беседе с автором настоящей заметки. Собственно, это и объясняет далевские сомнения в возможности публикации стихов и их непоявление в печати, ведь пушкинская тема, по сути, тогда находилась под запретом (См. об этом: Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 196–199). Становится понятным также, почему Даль настойчиво хочет поместить свое произведение в «Литературных прибавлениях к “Русскому инвалиду”», ведь именно здесь в № 5 от 30 января за 1837 г. был обнародован знаменитый некролог Одоевского, посвященный памяти Пушкина и вызвавший неудовольствие правительственных верхов, “Солнце нашей поэзии закатилось!...” (Там же. С. 195, 498; Кулешов В.И. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. М., 1987. С. 412).

Публикуемый нами текст, согласно помете в черновике, был завершен не позднее 22 марта, т.е. вскоре после того как оказавшийся по служебным делам в Петербурге, Даль неотлучно дежурил у постели умирающего поэта в качестве друга, врача и доверенного лица 28–29 января 1837 г. Ранее, летом 1836 г., он уже обращался с дружеским стихотворным посланием к Пушкину (См. нашу публикацию: Стихотворное обращение В.И. Даля к А.С. Пушкину // Русская речь. 1999. № 2. С. 39–46). Естественно, по возвращении в Оренбург (в 1833–1841 гг. Даль служил чиновником особых поручений при оренбургском военном губернаторе В.А. Перовском) он не мог не откликнуться на произошедшую трагедию.

Примечателен и круг лиц, привлеченных Далем для предварительного ознакомления с текстом. От Башуцкого, даровитого литератора и подвижника-просветителя, он впервые услышал о смертельном ранении поэта, о чем поведал в своих воспоминаниях “Смерть А.С. Пушкина” (См.: А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 267). Краевский и Одоевский принимали сочувственное участие в последних днях жизни поэта, с 1836 года были его сподвижниками по изданию “Современника”, а в 1835 году заботились о его привлечении к сотрудничеству в “Московском наблюдателе”. Вероятно, этим последним обстоятельством и вызвано первоначальное далевское намерение от 22 марта 1837 г. послать сюда свои стихи. Очевидно, однако, что со всеми названными людьми Даль довольно-таки откровенно обменивался мнениями о причинах гибели поэта. Насильственный и неожиданный уход из жизни светоча отечественной культуры в расцвете творческих сил был подлинным потрясением для всей мыслящей России. Произошла общенациональная катастрофа.

Надо полагать, официозная установка на принижение всенародной славы Пушкина вынудила Даля несколько закамуфлировать содержание. На первый взгляд, как будто даже непонятно, кого и зачем клеймит автор. В действительности же Даль весьма просто и доходчиво указал на объект своей сатиры, очень тонко сблизив текст с облетевшим тогда всю Россию стихотворением М.Ю. Лермонтова “Смерть поэта”. (Попутно заметим, что оно активно распространялось в литературных кругах Краевским и не могло остаться неизвестным Далю.) Отсюда и многозначительное примечание к заглавию “Не стыдно ль вам!”. Лермонтовский реквием, поясним, состоит из трех частей: элегическая вторая часть (23 строки) конфликтно соотносится со все усиливающимися инвективами первой (33 строки) и последней (16 строк) частей; причем 4-стопный ямб первой части резко сменяется затем ямбом вольным с вариациями от 4-стопного до 6-стопного.

Даль опускает тему скорби, желая, по-видимому, избежать даже соседства имен жертвы и преступников. Он как бы укрупняет отрицательные черты развенчиваемой клики, уже очерченные Лермонтовым: аморальность, человеконенавистничество, лицемерие, эгоизм, мелочность и т.д. Отметим сходные текстуальные перефразировки, например: *Пустых похвал ненужный хор – О пустословия и похвалбы / Преголосистые заносчивые барды; Не вы ль сперва так злобно гнали – Скрежещут злобствуя зубами.* В его произведении 49 строк – ровно столько, сколько в первой и третьей частях лермонтовского реквиема. Но прежде всего здесь подхватывается заключительное гневное, перерастающее в проклятие, обвинение. *А вы, надменные потомки* с его острой публицистичностью, ямбической разностопностью, презрительным *вы* и наконец предсказанием неизбежной ответственности. Речь не идет о механическом переименовании, ибо одно-

временно меняется угол зрения, масштаб изображения, интонационное оформление.

Показывая абсолютное ничтожество обличаемых великосветских щеголей, Даль одновременно подчеркивает их страшную силу – ненависть к “святыням” и близость к “сатане”. Как и у Лермонтова, начальные строки сразу же задают основную тему:

Не стыдно ль вам полвека без оглядки
Мычать, рычать, буянить, пировать..?

Здесь подразумеваются неоднозначные социальные процессы, вызванные Великой французской революцией 1789 г.

Вероятно, Даль возводил начало революции не к падению Бастилии в июле 1789 года, а к событиям 1787 года: всеобъемлющему государственному кризису и собранию нотаблей (знати), которое, проявив неповиновение королю, отказалось платить новые налоги и потребовало созыва Генеральных штатов. Именно созыв Генеральных штатов в мае 1789 года, трансформировавшихся вскоре в Национальное, а затем и Учредительное собрание (См.: Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983. С. 61–64), привел в конечном итоге к взятию Бастилии. Таким образом, указание “полвека” (1787–1837) у Даля отличается выверенной точностью.

Прямо об иностранцах Даль не упоминает в отличие от Лермонтова (“Подобный сотням беглецов, На ловлю счастья и чинов Заброшен к нам по воле рока; Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой язык и нравы”), хотя тоже отмечает неуважение к традиции и общепринятой морали (“Что свято для других, для вас одна игрушка”). Однако он вводит рассуждение о “королях”, которые “Без пистолетов со взведенными курками, Без взвода палашей, среди своей земли, Не смеют показаться между вами”. Происходит совмещение двух противоположных смыслов: а) короли заботятся о своей охране; б) королей заключают под стражу. Возникает прозрачный намек на судьбу и казнь Людовика XVI 21 января 1793 г. (См.: Манфред А. З. Указ. соч. С. 79–80, 123–124, 133–134). Несомненно, здесь учитывается и покушение 15 декабря 1836 г. на Луи-Филиппа. Кстати, сообщение об этом в парижских газетах Пушкин прочитал вслух на приеме у Фикельмонов 29 декабря 1836 г.

Тогда же присутствовавшая на приеме В.И. Бакунина сообщала в письме к мужу: “Конечно, вы уже знаете, что стреляли по короле Фр(анции) и стеклами ранили его сыновей, когда он ехал в Палату. Это произвело для него прекрасное действие, и он там был принят с восторгом, и на возвратном пути – народом. Это нам читал Пушкин, поэт, у Фикель(мон) перед обедом” (Абрамович С.Л. Пушкин. Последний год: Хроника. М., 1991. С. 459). В связи с этим нельзя не

вспомнить слова П.А. Вяземского о гибели Лермонтова в письме к А.Я. Булгакову от 4 августа 1841 г.: “В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Лудвига Филиппа. Второй раз не дают промаха” (Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 97).

Понятно, на фоне угроз собственным монархам расправа над оппозиционным русским поэтом при прямом попустительстве III отделения действительно представлялась заезжим гастролерам “игрушкой”. Подобная трактовка снимала какой-либо налет романтического ореола с поведения Геккерна и Дантеса (скажем, в свете даже циркулировал слух о том, будто бы Дантес женился на Е.Н. Гончаровой во имя спасения репутации Н.Н. Пушкиной (Абрамович С.Л. Пушкин. Последний год. С. 409–410) и превращала их в заурядных преступников. Созданный эффект многократно усиливается за счет повторяющегося риторического вопроса “Не стыдно ль вам?”. Ведь по мере движения авторской мысли становится совершенно очевидным, что характеризующие персонажи избытком стыдливости не страдают. В результате обличительный монолог приобретает дополнительную напряженность и подводит к выводу о необходимости заменить словесные увещевания более весомыми и жесткими аргументами.

Вообще, далевский текст наполнен множеством смысловых оттенков. Их последующий перечень удлинит бы вступительную заметку, но не исчерпал всего семантического поля. Нельзя не отметить слов из крестьянского обихода *хвостец*, *ухоботье*, привносящих созвучную основной идее народную оценку. Надеемся, читатели прочувствуют и другие содержательные обертоны, присущие стихотворению Даля.

При публикации мы стремились сохранить неповторимые особенности оригинала с учетом требований современной графики и пунктуации.

*Не стыдно ль вам!**

Не стыдно ль вам полвека без оглядки
Мычать, рычать, буянить, пировать,
Святым играть, заветного не знать,
Не стыдно ль вам своей бессовестной повадки?
Святыню вы давно стоптали в прах и грязь;
Святого нет для вас; – для вас оно погбло;
Вам буйство – и кумир и князь
И своеволие волю вам подшибло!
Кричит любой из вас за семерых,
Скрежещет злобствуя зубами
И на дыбы взвиваться лих
И мечет честию, что плевками!..!

И благо и добро вам пустышь, вздор и сор;
Что свято для других, для вас одна игрушка;
Греха не знаете, вам совесть не укор;
Зато существенны – цветок, полоска, мушка,

Покрой жилетный, да узор²!!

О пустословия и похвальбы³

Преголосистые, заносчивые барды!

Горазды вы причесывать чубы,

Отрасчивать усы, да бакенбарды,

Да обмолачивать, на беззаботье,⁴

Всех пошlostей хвостец⁵ да ухоботье⁶!

Не стыдно ль вам, что ваши короли

Без пистолетов со взведенными курками,

Без взвода палашей, среди своей земли,

Не смеют показаться между вами?

Не стыдно ль вам, что ваши короли

Кареты строят словно корабли

И обивают их железными листами?

Не стыдно ль вам – не нас, себя самих,

Коли хоть искра в вас стыда найдется,

Не стыдно ль внуков вам своих,

Что им за вас краснеть придется?

Какой дадут они ответ

За эту бездну зол и бед,

Когда их спросят наши внуки,

За этот вздор, за этот бред,

За шалостей бессмысленных черед

И в пакостях сердца погрязшие и руки?

Да, гадко слушать вас и жалостно глядеть,

Как вам с похмелья все мерещется пирушка!

Пора, пора самих себя вам пожалеть,

Не дешево далась вам эта побрякушка!

Чего вам на стену как бешеному лезть

И нянчить сатану и день и ночь возиться?

Пора, пора уgomониться,

Пора опомниться, присесть,

Пора бы вам – перебеситься!

В. Луганский

ПРИМЕЧАНИЯ

* Статья, написанная в свое время, но запоздавшая несколько в печати (Примеч. В.И. Даля).

¹ А.Н. Карамзин впоследствии писал о Дантесе: “Нашему семейству он больше, чем когда-либо, заявлял о своей дружбе, передо мной прикидывался откровенным, делал мне ложные признания, разыгрывал чество, благородством души и так постарался, что я поверил его преданности госпоже Пушкиной, его любви к Екатерине Г(ончаровой) – всему тому, одним словом, что было наиболее нелепым, а не тому, что было в действительности” (Абрамович С.Л. Указ. соч. С. 474).

² Здесь перечислены модные тогда, особенно во Франции, внешние признаки отличий между представителями отдельных социальных групп и политических партий. Существовал и интимный язык названных аксессуаров, например, мушек (См.: Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18 – первой половины 20 вв. (Опыт энциклопедии). М., 1995. С. 183).

³ Начинающееся этой строкой шестистишие открывало сперва в черновой редакции весь текст, но затем было перечеркнуто и перенесено на нынешнее место.

⁴ Данная строка до перечеркивания, упомянутого в предыдущей сноске, читалась так: “Да обмолачивать – чтоб взяло вас колотье! –”. *Колотье* – “болезнь, чувство будто колет иглами, особенно при воспалениях черев и легких и оболочек их” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1989. Т. 2. С. 142. Ниже – Словарь). Обозначенным симптомом во многом соответствует далевский диагноз страданий Пушкина в предсмертные часы (См.: А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 270–271).

⁵ *Хвостец* – “Хвост хлебного вороха при вейке; легкое зерно и сор с мякиной” (Словарь. Т. 4. С. 547).

⁶ *Ухоботье* – “{...} сорные и легкие зерна, относимые, при вейке, под ветер и лежащие хвостом” (Там же. С. 526).

Вступительную статью, публикацию
и примечания подготовил **Ю.П. Фесенко**,
доктор филологических наук ©

Луганск,
Украина

Горячий снег, злое добро и другие “нелепицы”

А. Н. ШУСТОВ

Одним из источников пополнения и обогащения русского литературного языка являются метафоры. Среди большого количества метафорических словосочетаний особое место занимают пары, в которых определяющее слово (прилагательное) семантически “не сочетается” с основным. На первый взгляд даже возникает впечатление некоей нелепости, хотя подобная “алогичность” как раз и является основным свойством любой метафоры.

В 1920–1930-х годах русскими мыслителями было предложено несколько таких словосочетаний с философским подтекстом. Определяющим словом к отвлеченным этическим понятиям во всех случаях выступает конкретное прилагательное *злой*.

В прошлом основа *зло* была довольно продуктивной: “Словарь русского языка” начала XX в. (Т. 2, вып. 9. СПб., 1907) фиксирует около 320 единиц (иные в нескольких значениях). Все они понятны, хотя многие уже давно перешли в пассивный запас языка. К XX веку в языке существовали и устойчивые сочетания с прилагательным *злой*: *злая доля*, *злая горячка* (чахотка), *злая звезда* (неудача), *злое сердце* (немилосердное), *злой язык* (клеветник; отсюда: *говорить злые слова* – клеветать, осуждать; ср. у Грибоедова: “Злые языки страшнее пистолета”) и др. Они-то и послужили своеобразной моделью для последующего словотворчества.

Прежде чем приступить к рассмотрению конкретных примеров, напомним о понимании смысла понятий *добро* и *зло* в православно-христианской этике: “Отделение от Божества, т.е. от полноты добра есть зло, и, действуя на основании этого зла, мы можем делать только дурное дело” (В. Соловьев. 3-я речь в память Достоевского). Философию самого Соловьева характеризует оптимизм, вера в конечное торжество добра: “Зло есть несовершенное добро”. Эта мысль была близка и его последователям; “Зло есть неосуществленное добро” (Н. Бердяев). Антихрист постоянно искушает человека видимостью добра. (“У ада есть свой миомлетный цвет и свое обманчивое сияние” – В. Соловьев). Но это – лишь пародия, поскольку “добро вечно исходит от добра, а зло от зла” (Мать Мария). Дьявол вынужден искушать человека только добром, потому что в нормальном человеке изначально заложена тяга к добру. К сожалению, сам человек не всегда способен отличать подлинное добро от дьявольской подделки.

В свете изложенной теории “злые” метафоры будут понятнее. Такие конструкции наиболее часто встречаются у В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева (во всех нижеприводимых примерах курсив наш).

Еще в 1918 году, до своей высылки из СССР, Бердяев издал небольшую работу “Духи русской революции”. В главе, посвященной Л. Толстому, он писал, в частности: “В толстовском учении соблазняет радикальный призыв к совершенству, к совершенному исполнению закона добра. Но это толстовское совершенство потому так истребительно, так нигилистично, так враждебно всем ценностям, так несовместимо с каким бы то ни было творчеством, что это совершенство – безблагодатное. В святости, к которой стремился Толстой, была страшная безблагодатность, богопокинутость, и потому это ложная, *злая святость*. Благодатная святость (...) не может быть нигилистической” (Бердяев Н. Духи русской революции. Рига, 1990. С. 28). Такую святость философ называл также лже-святостью. В этом примере поражает несовместимость высокого и чистого понятия *святость* с определением *злая*.

И тут мы подходим к важнейшей нравственной проблеме: борьбе добра со злом, о которой много говорил Толстой. В 1925 г. вышла в свет книга И.А. Ильина “О сопротивлении злу силою”, в которой автор “не отрицает, что любовь, добро, терпение могут быть действительной формой противостояния злу. Однако бывают в жизни ситуации, когда в борьбе со злом необходимо прибегать к принуждению и насилию, ибо в противном случае непротивление будет безнравственным, оно становится пособником зла” (Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. М., 1997. С. 198; из статьи об И. Ильине).

Ильин был уверен, что “вражда ко злу не есть зло”. Такая постановка противоречила принципам христианства: не делать зла ближнему, не отвечать злом на зло, силой на силу. Книга вызвала споры. Бердяев назвал ее “кошмарной и мучительной”. Свою статью, направленную против Ильина, Бердяев выразительно озаглавил – “Кошмар *злого добра*”. Добро, по Бердяеву, – это “любовь к человеку, милосердие”. “Отвратительнее всего в книге И. Ильина его патетический гимн смертной казни. (...) Оправдание смертной казни евангельскими текстами производит впечатление кощунства” (Путь. Париж, 1906. № 4. С. 79, 85, 81).

Осуждая Ильина, Бердяев однако был вынужден согласиться, что “государство по природе своей не может не прибегать к силе и принуждению для ограничения и пресечения проявлений *злой воли*” (там же. С. 82).

Ранее (в конце XIX в.) о *злой воле* писал В. Соловьев: “...бывает так, что воля, хотя и согласна на убийство, не есть, однако, *злая воля*, и, следовательно, убийство не может здесь быть безусловным злом” (Три разговора); “Требования реальной правды и добра (...) противоплагаются несправедливой и *злой воле* как долг” (из статьи “Тегель”). Неоднократно встречается эта метафора и в капитальном труде философа – “Оправдание добра”. Кстати, у Соловьева имеются и другие

аналогичные словосочетания: “Последний взрыв *злой страсти*, окончательно подорвавший физическое существование поэта (Пушкина. – А.Ш.), оставил ему, однако, возможность и время для нравственного перерождения” (Судьба Пушкина, гл. XI); “Красота природы есть именно только покрывало, брошенное на *злую жизнь*, а не преобразование этой жизни” (Общий смысл искусства); “...искусство не должно ограничиваться отвлечением человека от *злой жизни*, а должно улучшать эту жизнь” (1-я речь в память Достоевского). Последнюю метафору Соловьев заимствовал у Ф.И. Тютчева (Итальянская villa):

...злая жизнь с ее мятежным жаром
Через порог заветный перешла,

чьи строки он процитировал в статье “Поэзия Ф.И. Тютчева” (гл. VI).

Вернемся к борьбе со злом. Уже в 1939 г. парижский журнал “Новый Град” (14-й, последний, номер) опубликовал статью Н.А. Алексеева “О сопротивлении при помощи силы”, в которой речь шла об отпоре врагу со стороны государства, т.е. идейно подготавливалась почва военного сопротивления фашистской Германии. Сегодня, с учетом итогов кровавого XX века и разгула терроризма, спор между И.А. Ильиным и Н.А. Бердяевым о злом *добре* нуждается в историческом переосмыслении.

В поле зрения русской дореволюционной и эмигрантской религиозной философии постоянно находились проблемы творчества. Творчеству посвятили свои монографии К. Эрберг, Н. Бердяев, позже – монахиня Мария и др. Оправдание его авторы находили в Библии, в том числе – в апостольских посланиях: “...творчество человека, знание, искусство, изобретение, усовершенствование общества и пр., и пр., нужно не для личного спасения, а для осуществления замысла Божьего о мире и человечестве, для преображения космоса, для Царства Божьего, в которое входит вся полнота бытия. Человек призван быть творцом, соучастником в Божьем деле миротворения и мироустройства, а не только спасаться” (Н. Бердяев. Спасение и творчество). Бердяев был уверен, что “не всякое творчество хорошо. Может быть и *злое творчество*. Творить можно не только во имя Божие, но и во имя дьявола. Но именно потому нельзя уступать творчества дьяволу, антихристу” (Путь. 1926. № 2. С. 31).

С Бердяевым солидарна и мать Мария. В середине 1930-х годов в статье “Рождение и творение” она писала: “...Человек всегда творит по образу и подобию своему. Написана ли книга, создана ли философская система, сконструирована ли машина или нарисована картина, – ни одна эта сотворенная вещь не имеет иного лица, кроме лица со-

здавшего ее" (Мать Мария. Воспоминания, статьи, очерки. Т. 2. Париж, 1992. С. 202).

В другой статье м. Мария словно бы "уточняет" Бердяева (с которым кстати, была дружна, но нередко спорила): злое, отрицательное творчество, как и положительное, имеет божественное происхождение, "но влияние его не всегда злое, а зависит от воспринимающего субъекта. *Злое творчество* является абсолютным злом только для того, кто его создает", поскольку человек-творец "дает злое творчество, разлагающее и расщепляющее первоначальный божественный замысел" (Там же. С. 150–153).

По существу, любое этическое понятие может быть искажено, возвращено наизнанку. В 1920–1930-х годах в среде русской эмиграции остро встал вопрос о свободе совести и шире – о церковной свободе. Об этом писали многие: споры принимали порой весьма острый характер: одни считали, что подлинная свобода только там, в "русской Франции", а иные вообще в свободу не верили, утверждая, что она стала "жертвой насилия" и "топится в насилии". Однако многие сходились все же на том, что православное "христианство есть религия свободы и человеческого достоинства" (Мать Мария).

Но пользоваться свободой следует крайне осторожно, чтобы не впасть в своеволие, когда "все позволено". В статье "Церковная смута и свобода совести" Бердяев постарался поставить точку над *i*: свобода "была темной и безблагодатной. Но ведь и авторитет совершал немало бесчинств (...). Гарантий нет ни в авторитете, ни в свободе, и за авторитетом может скрываться *злая свобода*, своеволие и произвол" (Путь. 1926. № 5. С. 40). Живыми свидетелями этого были многие россияне советского периода нашей истории. "Бесстрашное утверждение свободы духа, свободы совести имеет особенно значение в нашу критическую эпоху (...). Свобода сурова и требует силы духа. Но эта суровость и сила сейчас и нужны" (Там же). Эта касается и нас, сегодняшних.

20 апреля 1936 г. на очередной литературно-философской "беседе" в Париже монахиня Мария выступила с докладом, названным ею "*Злое чудо*". По ее мнению, есть чудеса благодатные, наряду с которыми существуют и злые. "В чем соблазн *злых чудес*? Не в том, конечно, что они обманывают и влекут своим сходством с добром". Их соблазн в том, что "почти никто не сомневается в их всемогуществе". К злым чудесам докладчица отнесла страшное зло – войну и смерть (Новый Град. 1936. № 11. С. 153).

Доклад вызвал оживленные прения присутствующих; они не соглашались с тем, что смерть – зло: "Что может быть страшнее человеческого бессмертия? Оно обескрасило бы жизнь". "Соблазн *злого чуда* в его силе. Человеку кажется, что зло победно, что методами зла, ставкой на зло цели его достигаются быстрее. В своей слабости чело-

век не верит в добро, – вернее в его силу. (...) Только безграничная вера дает человеку возможность не быть парализованным зрелищем *злого чуда*” (Там же. С. 154).

О *злом чуде* м. Мария упомянула и в стихотворении того же периода:

...людскую немощь покарав,
Ты открыл мне тайну злого чуда.
(“Чудом Ты отверз слепой мой взор...”)

Рассмотренные нами метафорические пары и устойчивые словосочетания пока в широкий обиход не вошли, но свою образную роль безусловно сыграли. Не исключено, что они могут оказаться востребованными и в наши дни. [Передавая существо содержания книги римского поэта Катуллы, которую сам он определил как *truces iambos* (позорящие, бесчестящие ямбы; ср. русск. *злые слова*), современные исследователи называли ее *злые ямбы* (Октябрь. 2001. № 12. С. 130)].

Вместе с тем следует отметить, что аналогичные случаи “несовместимости” встречаются не только у философов. В качестве примера можно вспомнить *горячий снег*. Эта метафора вошла в языковой оборот после выхода в свет (в 1969 г.) романа Ю.В. Бондарева с таким заглавием, посвященного Сталинградской битве. Несмотря на внешнюю “нелепость” образа, *горячий снег* (от огня или от слез – неважно) – “прозрачен” и в пояснениях не нуждается.

Вскоре после публикации романа Бондарева как прямой отклик на него появилась песня на слова М. Львова (муз. А. Пахмутовой), в которой звучит характерный рефрен:

И падал в битве человек
В горячий снег, в кровавый снег...
Хватал руками человек
Горячий снег, кровавый снег...
А у меня в глазах навек
Горячий снег, кровавый снег...

Справедливости ради, следует напомнить, что эта метафора не изобретение Бондарева; она была предложена гораздо раньше поэтом Р. Ивневым, о чем автор романа мог и не знать:

Резвится дым словесного парада!
Холодная зима. Горячий снег.
(Отречение, 1916).

Санкт-Петербург

Словом можно убить, словом можно спасти

Беседа с М. В. Горбаневским

О русском языке великий Ломоносов еще почти три века тому назад писал: “Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностью мест, где он господствует, но и купно и собственным своим пространством и довольствием велик пред всеми в Европе”.

Будучи живым и развивающимся по собственным законам, язык самоочищается и совершенствуется во все времена. XVIII век укрепил грамматический фундамент великорусского языка, вывел его на широкий путь Просвещения, широко распахнув двери языку художественных произведений, поэтики.

Просвещенный XIX век, открывший эпоху “научного гуманизма” с его единой картиной мира и человека, внес в русский язык особый стиль научности речи на принципах проблемности, новизны, рациональности и гуманизма, развивая и сохраняя красоту и ценность художественной, документальной, судебной и политической речи. Благодаря постоянной борьбе между славянофилами и западниками, русский язык развивался нормально и интенсивно, какие бы разрушительные силы не воздействовали на него. Золотым слитком воссиял из этой бурной эпохи пушкинский язык – опора и надежда всех добрых сил русской нации и всех людей, которым дорога и близка русская культура. **А что же принесли русскому языку бурные общественные процессы последнего десятилетия XX века?**

С этим вопросом мы обратились к известному российскому ученому-лингвисту, профессору Михаилу Викторовичу Горбаневскому, создавшему и возглавившему в 2001 году Гильдию лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам.

– В российских школах вопиющая безграмотность и ненависть к русскому языку как учебному предмету достигли катастрофических размеров, приводя в уныние и отчаяние учителей, униженных и этим безразличием, и экономически. Русский язык гоним и притесняем во всех бывших братских республиках вместе с его носителями и учителями словесности. Писательской общественности не до проблем языка – никто не выступает в его защиту от рыночно-уголовной грязи и неоправданного засилья агрессивной иностранной лексики и даже интонаций. Один советский поэт, размышляя о судьбах языка и роли слова, написал такие строки: “Словом можно убить, словом можно спасти, слово может полки за собой повести, Словом можно продать и предать и купить. Слово можно в разящий свинец перелить...”

Метафорический ряд второй половины XX века понятен. Но и сейчас, в начале XXI века, строки эти звучат не только не менее, но и более современно. Я бы даже сказал – современно и своевременно, ибо они могут служить метафорической иллюстрацией событий, происходящих в нынешней российской прессе, в профессиональном журналистском цехе. Согласитесь: сейчас печатные и эфирные СМИ буквально переполнены жаргонной, блатной лексикой, хамскими выражениями и оборотами. Редакции не гнушаются (в погоне за читателем и прибылью?) использовать и откровенные ругательства. А в судах количество гражданских исков к СМИ и журналистам о защите чести, достоинства и деловой репутации увеличивается уже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Увеличивается, пусть и не так стремительно, количество уголовных дел против СМИ, возбужденных по статьям “Клевета” и “Оскорбление” – дел, обычно опять-таки связанных с претензиями физических или юридических лиц к конкретным словам и выражениям, употребленным в их адрес теми или иными печатными и электронными СМИ (вплоть до Интернета).

– Конечно же, вопросы этики и эстетики работы СМИ весьма важны, спору нет. Однако многих наших читателей проблемы языка СМИ интересуют, в первую очередь, в правовом аспекте. Ведь анализ речи журналистов именно в этом аспекте и стал одной из главных целей созданной Вами Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам?

– Этические, эстетические (стилистические) и правовые вопросы представляют собой фактически единый контекст функционирования языка в СМИ. Так что я не стал бы их отделять друг от друга ради абстрактных правовых принципов. Иногда создается впечатление, что к началу XXI века мы разучились нормально говорить и писать по-русски. С языком обращаются варварски, начиная от средней школы и кончая Охотным рядом, я имею в виду речь господ депутатов Государственной Думы РФ. Порой возникает желание выключить радио, телевизор, не читать периодики, чтобы не слышать и не видеть, какое насилие производят сограждане над “великим и могучим”.

И в советские времена он был не в почете: его идеологизировали (“Я русский бы выучил только за то...”), он пропитался духом коммунистической пропаганды (*вместе со всем народом... по зову партии... к великим свершениям... неуклонно повышая удойность*), он обозначал реалии экономики тотального дефицита (*просили больше не занимать... больше двух в одни руки не давать*). Вспоминается монолог Михаила Жванецкого на эту тему: «Наши беды непереводимы. Это непереводимая игра слов – даже Болгария отказывается. Они отказываются переводить, что такое “будешь третьим”, что такое “вы здесь не стояли, а я здесь стоял”, что такое “товарищи, вы сами себя задерживаете”, что такое “быть хозяином на земле”. Они не понимают на-

шего языка, ребята... Наш язык перестал быть языком, который можно выучить».

Я уже не говорю о том “языке”, на котором общались между собой печально запомнившиеся персонажи скандального телевизионного шоу “За стеклом”. Размышляя о роли руководства телеканала, выпустившего в эфир это шоу, начинаешь думать, что ради денег от теле-рекламы и удовлетворения амбиций оно готово было буквально на все, а остальное, используя словечко из речи их “застекольных” ки-боргов, – “фиолетово”, то есть все равно, наплевать. Деградация нравов телезрителей, системы ценностей и родного русского языка, происходящая благодаря таким “застекольным” оболванивающим пере-дачам, просто ужасает!

Дмитрий Сергеевич Лихачев однажды заметил, что о нравствен-ном здоровье нации можно судить по состоянию ее библиотек. Я бы добавил: об экономическом здоровье нации можно судить по состоя-нию дорог (к примеру, в Германии дороги лучше, чем во Франции, а во Франции лучше, чем в Польше, соответственно можно судить и о состоянии экономики), о моральном здоровье нации можно судить по отношению к инвалидам и детям, а вот об умственном здоровье этно-са и социума, народа и общества, можно судить по состоянию его язы-ка: чем язык беднее, тем, к сожалению, ниже умственное развитие его носителя.

Правы современные ученые-русисты, говорящие о том, что рус-ский язык – наше национальное достояние, но не такое, которое мож-но положить в сундук и любоваться им время от времени: отражая на-ши национальные достоинства, язык не менее ярко показывает и все наши беды. Все больше и больше людей в нашей стране – от деятелей науки, литераторов и педагогов до многих рядовых читателей, радио-слушателей и телезрителей – обеспокоены состоянием и судьбой рус-ского языка, который вместе со всей отечественной культурой по-ставлен в очень жесткие условия. Русская речь в современном россий-ском обществе до сих пор не только находится в положении не любимой дочери, а падчерицы, но и, к сожалению, превратилась в ин-струмент сознательных (а потому особенно позорных, преступных) и неосознанных нарушений этических норм и традиций России и между-народного сообщества, гражданского и уголовного законодательства, закреплённых статьями соответствующих кодексов РФ.

Пора привыкнуть, что мы еще не живем в правовом государстве и не будем в нем жить еще лет двадцать-тридцать. Мы живем в крими-нальной стране, какой бы великой культурой прошлого, литературой, памятниками искусства она ни обладала... Мы – современники эпохи первоначального накопления капитала, той эпохи, которая в любой стране мира была далеко не украшением ее истории. А первые лич-ные состояния многих богатейших семей планеты зачастую создава-

лись, мягко говоря, очень далеко от правового поля, нередко – просто преступным путем. То же мы видим и в России. Допустимо предположить, что лишь по прошествии некоторого времени, когда наше государство преодолеет глубочайший кризис и сумеет укрепить свою экономику, когда в нашей стране будет создано гражданское общество, когда в России начнет наконец складываться социально ориентированный бизнес, социально ориентированный рынок, пресса, вероятно, претерпит качественные изменения, избавившись от многих напастей.

Создание Гильдии связано с искренней убежденностью ее учредителей в непреходящем значении российской гуманитарной науки для развития государства и общества. Активная общественная позиция, напряженная исследовательская, просветительская экспертная и аналитическая деятельность наших лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам – это одна из скромных попыток научной общественности России дать свой ответ на вызовы времени.

Между прочим, наказание за нарушение “лингвистической безопасности” человека и общества – дело далеко не новое, как и не новы судебные реформы в России. В ноябре 1864 года на всей территории России без каких-либо колебаний и оговорок Александром II был введен суд присяжных. Вот один пример судебного приговора, вынесенного в 1865 году за словесное оскорбление и опубликованного в газетах той поры: “Московский окружной суд признал доктора медицины Ельцинского виновным в оскорблении частного пристава Врубеля неприличным словом “безобразия”. На основании ст. 104, 110 Уложения о наказаниях Ельцинский подвергнут денежному взысканию трех рублей серебром”.

Создавая в 2001 году Гильдию лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС), призванную оказывать действенную лингво-юридическую помощь сотрудникам СМИ, судьям, адвокатам, следователям, специалистам-филологам, юрисконсультам, студентам и преподавателям вузов, мы надеялись на особое внимание к проблемам лингвистической безопасности СМИ со стороны тех журналистов, кто готов подняться над уровнем корпоративного, финансового и бытового эгоизма, тех, кто готов бороться со злом, бороться – и победить. Но победить честно и достойно, не преступая Закон, не насилуя для этого родную речь, не превращая тексты СМИ в гремучую смесь анекдота, примитивного жаргона и непристойных выражений, в помойное ведро компромата. Так и хочется снова и снова напоминать каждому из пишущих, снимающих, готовящих передачи для теле- и радиоэфира: будь осторожен, выбирая слово!

Латинское изречение *Justicia regnorum fundamentum*, известное каждому дипломированному юристу, обычно переводят так: “Правосудие – основа государства”. Это правда. Как правильно и то, что в со-

временном развитом социуме правосудие XXI века невозможно без профессиональных, точных и объективных экспертиз – криминалистической, судебно-медицинской, судебно-психологической, лингвистической, без кропотливого труда честных и опытных экспертов-профессионалов. Поэтому создание нашей Гильдии, ставшее весьма непростым и хлопотным делом, мы считаем своим вкладом в совершенствование российской судебной практики, гражданских и уголовных дел, так или иначе связанных с российским информационным пространством, и еще одним (пусть и очень скромным!) шагом к построению в России гражданского общества.

– Кто выступил конкретным учредителем вашей Гильдии и какова сфера ее основных научных и прикладных интересов?

– Развитие идей прав человека и гласности создает большую общественную потребность в правовом регулировании отношений людей в сфере использования русского языка в политике, экономике (документационные споры), печатных и электронных средствах массовой информации (информационные споры) и повседневной жизни.

Другими словами, противоречивая общественно-политическая и экономическая ситуация, сложившаяся в России к началу XXI века, вызвала острую потребность в получении российскими СМИ и их юридическими службами, адвокатами, а также судами всех уровней, следователями и дознавателями правоохранительных органов специфической юридическо-лингвистической помощи.

Свидетельство о регистрации общественного объединения ГЛЭ-ДИС получила в феврале 2001 г. от Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве. С юридической точки зрения Гильдия – абсолютно независимое профессиональное сообщество, поскольку ее учредителями выступили не какие-либо организации, а физические лица – опытные специалисты: лингвисты, юристы, биографы. Это существенно повышает объективность и независимость выполняемых нами и предоставляемых в официальные инстанции экспертных заключений. В научную элиту Гильдии входят ученые, имеющие в своем деле просто грандиозный опыт: главный редактор интернет-портала “Русский язык” (www.gramota.ru) кандидат филологических наук Юлия Сафонова (выступавшая экспертом по таким громким делам, которые условно можно назвать “Лужков против журналиста Доренко”, “ФСБ против генерала Макашова”, “Прокуратура против журналиста Гордона” – экспертизы по ним опубликованы в книге Гильдии “Цена слова”), основной российский специалист по фоноскопическим экспертизам из МВД России, доктор юридических наук и одновременно кандидат филологических наук, полковник милиции Елена Галяшина, один из наиболее компетентных российских специалистов по языку рекламы доцент факультета журналистики МГУ кандидат филологических наук Елена Кара-Мурза, признанный авторитет в об-

ласти лингвокультурологии профессор Института русского языка им. А.С. Пушкина, доктор филологических наук А.С. Мамонтов, патриарх российской лингвистилистики, обучивший добрую половину выпускников факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук профессор Ю.А. Бельчиков, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания РУДН, доктор филологических наук профессор В.М. Шаклеин, другие известные исследователи-руссисты.

Квалифицированными московскими экспертами-языковедами, кандидатами и докторами филологических наук, представителями академических институтов и ведущих вузов Москвы и других городов России, объединившимися в 2001 г. в Гильдию лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (мы выбрали, как нам кажется, удобное сокращенное ее наименование – ГЛЭДИС), накоплен значительный самостоятельный (который предстоит перевести в корпоративный) опыт по таким лингвистическим экспертизам, как, например: подробное разъяснение значения и происхождения слов, словосочетаний и фраз; исследование случаев, связанных с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации (в частности, анализ спорных публикаций и выступлений в СМИ); исследование структуры текстов, анализ основного и дополнительного содержания текстов, их авторства и т.п.; толкование отдельных положений законодательства, подзаконных актов и иных документов с точки зрения того, как их должен понимать обычный грамотный носитель современного русского литературного языка; толкование спорных положений коммерческих и некоммерческих договоров, соглашений, меморандумов и др. для определения того, какие варианты понимания этих положений в принципе возможны с точки зрения обычного носителя современного русского литературного языка и какие из возможных вариантов наиболее вероятны; экспертиза текстового наполнения (контента) сайтов и страниц в Интернете; исследование товарных знаков, девизов (слоганов) и иных коммерческих наименований на предмет их соответствия нормам современного русского литературного языка, а также на предмет эквивалентности/неэквивалентности другим товарным знакам и коммерческим наименованиям и др. Другими словами, сфера нашей компетенции весьма широка и выходит далеко за пределы собственно проблемы лингвистической безопасности СМИ.

– И все же давайте вернемся к болевым точкам языка СМИ, лингвистической безопасности нашей печатной и электронной прессы. Начну с самого простого. Каково соотношение лингвистических экспертиз, которые нередко производятся в связи с судебными исками против СМИ и журналистов, с общими нормами процессуального права?

– Практика показывает, что специальные лингвистические познания нередко необходимы для установления самого факта преступного

деяния по многим видам преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Российской Федерации, например: преступлений против чести и достоинства – ст. 129 УК РФ (Клевета), ст. 130 УК РФ (Оскорбление); преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина – ст. 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав); преступлений против собственности – ст. 163 УК РФ (Вымогательство); преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства – ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации), – ст. 282 УК РФ (Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды); преступлений против мира и безопасности человечества – ст. 354 УК РФ (Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны) и некоторые другие.

Кроме того, в электронных и печатных средствах массовой информации имеют место случаи, когда распространяется не соответствующая действительности информация, порочащая честь и достоинство граждан. Литературные произведения, являющиеся результатом творческой деятельности авторов, зачастую без надлежащего разрешения неправомерно копируются, заимствуются, иногда слегка редактируются и переиздаются под другим именем. Эти и другие обстоятельства также могут потребовать участия экспертов-лингвистов в рассмотрении дел в гражданском или арбитражном процессе.

Таким образом, для установления многообразных фактов, имеющих значение доказательств при расследовании и судебном рассмотрении дел, необходимо применение специальных знаний в области филологической текстологии, прикладной лингвистики, прикладного речеведения и т.д.

Как известно, основная процессуальная форма использования специальных знаний (в том числе и в области лингвистики или филологии) – это назначение судебной экспертизы.

Значение заключения, сделанного квалифицированным и высокопрофессиональным, компетентным экспертом-лингвистом по перечисленным составам преступлений, трудно переоценить, ведь фактические данные, полученные путем экспертного исследования, не могут быть отражены ни в каком процессуальном документе, кроме заключения эксперта. И хотя в соответствии с процессуальным законом экспертное заключение не имеет никаких преимуществ перед другими доказательствами и по общему правилу должно оцениваться в совокупности с ними, роль его в установлении истины по делу значительна.

В общей теории судебной экспертизы традиционно принято выделять класс криминалистических экспертиз, отграничивая их от других. В классе криминалистических исторически сформировалось два самостоятельных рода судебных экспертиз, где используются фило-

логические знания. Это **судебная фоноскопическая и автороведческая экспертизы**.

Звучащий текст (устная речь), зафиксированный на магнитном носителе (фонограмме), является объектом судебной фоноскопической экспертизы. При этом в ее рамках решается комплекс самых разных задач: например, идентификация диктора и автора звучащего текста, интерпретация жаргонизмов и арготизмов, установление смыслового содержания устного речевого сообщения при контрадикции семантики вербальных и интонационных средств, выявление имплицитного значения текста и т.д. Таким образом, достигается всестороннее изучение звучащей речи как в акустическом, так и собственно лингвистическом плане.

Письменный текст (рукописный или печатный) является объектом автороведческой экспертизы. При этом могут решаться сходные задачи, например, по идентификации и диагностике (установление облика) автора текста, его социо-психологических характеристик по проявлениям в тексте тех или иных лингвистических особенностей, установление факта соавторства, выполнения текста под диктовку и т.д. В рамках автороведческой экспертизы складывается новое самостоятельное направление – **криминалистическая текстология**, включающая в себя методы и средства лингвистического, почерковедческого, фактографического и других исследований. Криминалистическая текстология, используя достижения текстологии филологической, на основе проведения специальных теоретических и экспериментальных исследований разрабатывает методики и рекомендации по текстологическому исследованию документов и решению всего комплекса диагностических и идентификационных задач в рамках судебного автороведения.

Предпринимавшиеся многочисленные попытки объединения двух названных направлений в рамках одного рода судебной экспертизы (которую предлагали назвать “судебной экспертизой речи”) пока успехом не увенчались. Таким образом, в настоящее время специальные познания в области филологии используются при решении идентификационных и диагностических задач двух разных родов судебной экспертизы – судебной фоноскопической и судебной автороведческой, традиционно подразделяющих текст как объект экспертизы на звуковую и письменную формы.

Судебная практика показывает, что для установления факта оскорбления, то есть унижения чести и достоинства другого лица, выраженного устно, недостаточно провести только лингвистический анализ вербального состава высказывания. Не менее важно то, с помощью каких интонационных и паралингвистических средств выражается то или иное значение. Как известно, даже obscene лексика, произнесенная с определенной интонацией, может быть воспринята адресатом не

как оскорбление, а как, например, высшая форма восхищения или даже выражения симпатии.

При производстве экспертизы текста, представленного в звуковой форме, недостаточно восприятия его только посредством слуха, необходимым объективный инструментальный (акустико-перцептивный) анализ всех компонентов интонации с использованием специальных программ по визуализации и обработке звуковых сигналов, позволяющих документировать результаты проведенного анализа. Одна и та же фраза (например, "Здоровье надо беречь!"), произнесенная с разной интонацией, может быть как нейтральной, так и выражать угрозу.

Современная практика судопроизводства достаточно лояльно относится к вызову в суд и участию в процессе независимых авторитетных ученых-филологов (в том числе в качестве свидетелей, специалистов, экспертов), там, где требуется то или иное толкование или интерпретация устного или письменного текста не только на русском, но и на других языках, что делает форму состязательности процесса по таким делам более интересной, а решения судей – более обоснованными и объективными.

– *Какие слова и словосочетания можно уверенно отнести к оскорбительной лексике? Ведь в случае удовлетворения судебного иска к журналисту за использование оскорбительной лексики автору газетных материалов и газете придется нести юридическую ответственность?*

– Журналист должен помнить, что действующее российское законодательство определяет **оскорбление** как унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. В отличие от клеветнических сведений, заведомо ложных, правдивость или ложность сведений, распространяемых при оскорблении, значения не имеет.

В научной практике принято выделять определенные разряды слов литературного и разговорного языка, использование которых в отношении определенного лица (прежде всего, физического), как правило, является оскорбительным. Это:

1. Слова и выражения, обозначающие антиобщественную, социально осуждаемую деятельность: *мошенник, жулик, проститутка*.

2. Слова с ярко выраженной негативной оценкой, фактически составляющей их основной смысл, также обозначающие социально осуждаемую деятельность или позицию характеризуемого: *расист, двурушник, предатель*.

3. Названия некоторых профессий, употребляемые в переносном значении: *палач, мясник*.

4. Зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям животных и подчеркивающие какие-либо отрицательные свойства человека: нечистоплотность или неблагодарность (*свинья*), глупость (*осел*), неповоротливость, неуклюжесть (*корова*) и т.п.

5. Глаголы с осуждающим значением или прямой негативной оценкой: *воровать, ханнуть*.

6. Слова, содержащие экспрессивную негативную оценку поведения человека, свойств его личности и т.п., без отношения к указанию на конкретную деятельность или позицию: *негодяй, мерзавец, хам*.

7. Эвфемизмы для слов первого разряда, сохраняющие, тем не менее, их негативно-оценочный характер: *женищина легкого поведения, интердевочка*.

8. Специальные негативно-оценочные каламбурные образования: *коммуняки, дерьмократы*.

Кроме того, оскорбительным, как правило, является использование в качестве характеристики лица нецензурных слов.

– *Какие вопросы могут быть поставлены перед лингвистами в ходе судебного разбирательства о защите чести, достоинства и деловой репутации? Допустим ли такой вопрос: “Может ли мнение нести информацию?”*

– Для анализа текста по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо ответить как минимум на три вопроса: 1). Содержит ли текст информацию о лице? 2). Содержит ли текст негативную информацию о лице? 3). В какой форме – утверждение, предположение – дана эта информация? При этом всем участникам судебного процесса следует помнить, что эксперт-лингвист не может определить, соответствует ли действительности информация о лице. Для установления соответствия/несоответствия фактов действительности нужно знать реальное положение дел. Это, например, может знать адвокат или доверенное лицо. В равной степени эксперт-лингвист не может установить – содержится ли в тексте клевета: клевета предполагает умысел, а лингвист не может определить его наличие или отсутствие.

Как формируется и излагается мнение (как понятие)? Мнение может формироваться на основе фактов или же быть предвзятым, не основанным на фактах. Человек может формировать свое мнение сознательно, рационально оценивая факты, или бессознательно, не отдавая себе отчета в том, почему он так считает. Изложение мнения, в отличие от высказывания о фактах, предполагает *явное указание* на носителя мнения. Например, высказывание *Петров опоздал* представляет собой констатацию факта, в то время как высказывания (1) *Я думаю, что Петров опоздал* или (2) *Как полагает директор, Петров опоздал* выражают мнение (в первом случае это мнение самого говорящего, во втором – мнение директора).

Теперь перейдем к вопросу: может ли мнение нести информацию? Если человек высказывает свое мнение, то это высказывание несет только информацию о том, какой образ действительности имеется у него в сознании, но не информацию о самой действительности. Следу-

ет, однако, учесть, что в высказывания-мнения вставляются (иногда замаскированные) утверждения о фактах. Например, в высказывании *Я считаю, что Иван поступил нечестно, отказавшись участвовать в выборах*, содержится оценочное суждение. Однако внутри него делается ссылка на якобы имевший место факт: *Иван отказался участвовать в выборах*, истинность которого не обсуждается в силу его общеизвестности или очевидности. В текстах газетных и журнальных публикаций, в материалах радио- и тележурналистов представлены как утверждения о имевших (или якобы имевших) место фактах, так и высказывания, содержащие интерпретации этих фактов, оценки, выводы и предположения.

– *Мы много говорим об ответственности журналистов за сказанное и написанное слово, об их неосознанных или умышленных ошибках. Но, согласитесь, часто бывает и обратное – когда с журналистом, пишущим правду, просто сводят счеты за его критические заметки и репортажи. Можете ли вы привести конкретный пример лингвистической экспертизы, которая выявила необоснованность претензий и исков к работникам СМИ?*

– Да, такое тоже случается, и не так редко. Общеполитический контекст попыток расправиться с журналистом за справедливую и конструктивную критику, обвиняя его через суд или прокуратуру в некорректном использовании тех или иных слов или словосочетаний, нам с вами тоже понятен. Наш нынешний российский строй образца 2003 года один современный российский публицист метко назвал “подмороженной демократией”, подчеркнув, что мы имеем демократию с ленинским мавзолеем, сталинским гимном, с аморфной массой завхозов в парламенте и военными в гражданской администрации. База этой демократии – не малый бизнес и свободный предприниматель, но чиновник, столоничальник, не регулирующий рыночные отношения, а участвующий в них! Похоже, нынешняя российская государственная машина надеется в своих интересах реализовать мысль А.И. Герцена о том, что иногда народам легче переносить рабство, чем справляться с даром свободы... Так что честным и равнодушным журналистам (коих, думаю, меньшинство в этой профессии!) в нашей стране живетесь весьма неладко.

Один из них – В.А. Красуля, редактор газеты “Новый Гражданский мир” (Ставропольский край), издающейся Союзом правых сил. Журналист и поддерживающие его депутаты Государственной Думы обратились в нашу Гильдию с таким запросом: «Является ли наказуемым использование в газетном материале слова *недееспособный*? Привожу пример одной из своих критических публикаций, где это слово использовано. После выхода в свет газеты у меня начались серьезные неприятности именно в связи с использованным в газетном материале словом *недееспособный*, закончившиеся уголовным делом

по статье “Клевета”. Вот этот отрывок: “Печально признавать, но пока черногоровская команда имеет все основания ликовать. Чудом избежав поражения на губернаторских выборах только потому, что краевые элиты не смогли договориться и выставить проходного кандидата, избежав по этой же причине создания мощной оппозиции внутри краевой Думы, наш шумный и амбициозный, но абсолютно недееспособный губернатор вот-вот приберет к рукам и краевой центр”».

Проведенный экспертами ГЛЭДИС анализ показал следующее. Слово *недееспособный* в современном русском языке имеет следующие значения: 1. Неспособный к действию, к деятельности; 2. Не обладающий дееспособностью, не имеющий права на совершение действий юридического характера и не несущий ответственности за свои поступки (юрид.). Ср. также: *недееспособность* – отсутствие у какого-либо лица права не совершение юридических действий в силу неспособности нести ответственность за свои поступки.

Первое значение слова *недееспособный* – общеупотребительное, имеет книжный оттенок. Второе – ограничено сферой употребления: текстами юридического содержания; это значение терминологическое.

В анализируемом фрагменте заметки слово *недееспособный* употреблено в 1-м значении, так как анализируемое высказывание – фрагмент газетной статьи; судя даже по фрагменту – статья критическая, стиль статьи (и фрагмента) – публицистический.

Кроме того (и это обстоятельство следует признать самым главным) в анализируемом фрагменте слово *недееспособный* распространено обстоятельством меры и степени, выраженным наречием *абсолютно* (*абсолютно недееспособный*). Терминологическая лексика, как правило, не может иметь таких распространителей: дееспособность в юридическом понимании или существует, или отсутствует (или есть, или ее нет), так же, как и недееспособность. Иными словами: понятие недееспособности не предполагает меру и степень; ср.: терминологическое *ограниченно дееспособный*, но невозможное: *ограниченно недееспособный*. Нельзя в терминологическом употреблении сказать: *гражданин Н. отчасти недееспособен* (ср. невозможное в русском языке *отчасти слепой, абсолютно хромой*). Если бы это было иначе, то применить критерий недееспособности было бы нельзя. Кроме того, известно, что существует ряд: *дееспособный – ограниченно дееспособный – недееспособный*.

Из контекста очевидно, что речь идет о недостаточной, с точки зрения автора статьи, активности политического деятеля. Кроме того, для второго значения слова *недееспособный* типичны употребления: *признан недееспособным; не может совершать таких-то действий как недееспособный; признание кого-либо недееспособным; недееспособный вследствие болезни, психического расстройства и под.*

Замечу, что в краях и областях России все чаще приходится сталкиваться со случаями раздраженной реакции крупных чиновников на заметки и статьи, носящие дискуссионный характер и ставящие своей целью на основании определенного фактологического материала и в рамках лингвостилистической корректности (не употребляя оскорбительной лексики) привлечь общественное внимание к ряду насущных и спорных проблем в регионе, к решению которых, по мнению СМИ, может иметь конкретный высокопоставленный чиновник. Разумеется, Россия в этом смысле – не исключение: подобное наблюдается фактически на всем постсоветском геополитическом пространстве. Так, на основании запроса директора представительства “Интерньюс Нетуорк” в Казахстане О. Кадиева в мае 2002 г. представительная комиссия ГЛЭДИС произвела психолого-лингвистическую экспертизу публикации «“Хабаризация” всей страны. Часть 2» (автор С. Дылевская), размещенной на веб-сайте представительства “Интерньюс Нетуорк” в Казахстане в электронном бюллетене № 23 (117) 2001 года, в связи с судебным иском Р. Алиева, зятя президента Назарбаева, одного из руководителей органов госбезопасности этой республики, к представительству “Интерньюс Нетуорк” в Казахстане. Тщательнейший анализ спорного текста не выявил в нем клеветнических высказываний или измышлений в адрес Р. Алиева – с нашим экспертным заключением можно познакомиться на веб-сайте ГЛЭДИС по адресу www.rusexpert.ru. Там в конце заключения мы посчитали необходимым (хотя в основные задачи нашей работы это и не входило) сделать следующее примечание: “Вся публикация С. Дылевской представляет собой журналистское расследование на основании сведений, которыми располагает ее издание, а также другие представители медиапространства Казахстана. Тема этого расследования – животрепещущая, проблема представляет собой важный общественный интерес, поэтому обращение к ней более чем закономерно. Журналист вправе поднимать болезненные темы современности, это его специфическая задача, неотъемлемая часть профессиональной деятельности”.

– В связи с судебным иском к одному журналу о защите чести, достоинства и деловой репутации адвокаты истца постоянно использовали термин **инвективная лексика**. Не могла бы вы уточнить значение этого термина – что такое “инвективная лексика” (фразеология)? Каковы функции мата в речевом общении? Что нужно знать начинающему журналисту и юристу о лингвистическом “статусе” инвективной, ругательной, обценной лексики и фразеологии?

– Действительно, следует различать (1) *инвективную* и (2) *неинвективную* лексику. Первая предполагает намерение оскорбить или унижить адресата или третье лицо; вторая является экспрессивной (содержит в себе негативную оценку и/или эмоционально-экспрессивный компонент), но названного выше намерения не предполагает.

Инвективная лексика и фразеология – это слова и выражения, заключающие в своей семантике, экспрессивной окраске и оценочном компоненте содержания интенцию (намерение) говорящего или пишущего унижить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата речи или третье лицо в как можно более резкой и циничной форме. Прилагательное *инвективный* – производное от существительного *инвектива*. Это слово, означающее “резкое выступление против кого-, чего-либо; оскорбительная речь; брань, выпад”, восходит к лат. *investiva oratio* (что переводится как “бранная речь”).

К инвективной лексике относятся, в частности: ругательная нелитературная лексика, чаще всего взятая из жаргонов и диалектов; обценная лексика (мат); грубопросторечная лексика, входящая в состав литературного языка; литературные, но ненормативные слова и выражения.

Что касается обценной лексики, то можно назвать несколько функций того, что в обыденном языке мы называем просто “матерщиной”. Главная функция мата: оскорбить, унижить, опорочить адресата речи. Далее: сигнализировать о принадлежности говорящего к “своим”; продемонстрировать собеседнику свою реакцию на систему тоталитарных запретов; показать, каким свободным, раскованным, “крутым” является говорящий; сделать речь более эмоциональной, разрядить свое психологическое напряжение и некоторые другие функции.

Внутри инвективной лексики надо различать литературную (относящуюся к русскому литературному языку) и внелитературную или нелитературную, например жаргонную. Ко второй группе относится и обценная лексика (мат).

В рамках “литературной” инвективной лексики тоже есть различные группы. Во-первых, это книжная лексика с инвективным значением (*мошенник, проститутка*). Здесь может возникнуть ситуация клеветы (так как, назвав человека таким словом, мы обвиняем его в нарушении законодательства или норм общественной морали; вполне возможно, что это не соответствует действительности). Во-вторых, это эвфемизмы для подобных слов, казалось бы, “щадающие” адресата, но на самом деле несущие такую же инвективную нагрузку (*дама легкого поведения*). В-третьих, это переносное, метафорическое употребление таких слов (ср. бессмертное выражение *политическая проститутка*). Оно чаще связано с ситуацией оскорбления. Наконец, в четвертых, есть группа вполне литературных слов инвективной семантики, однозначно связанных с оскорблением, – вроде *стерва, мерзавец, подонок*.

Особый случай – это инвективное употребление слов или словосочетаний, которые не содержат в своей семантике инвективного компонента и в лучшем (худшем?) случае имеют экспрессивную окраску

(мальчики в розовых штанах), а порой и ее не имеют (завлабы). Как ни удивительно, в устах определенной социальной группы людей даже слова *профессор, академик* могут приобретать инвективный характер. Однако доказать такой инвективный характер почти невозможно, хотя интуитивно каждый из нас (в определенном контексте) его ощущает.

– *Вы упомянули о сайте Гильдии в сети Интернет. Насколько он помогает Вам в Вашей работе?*

– С самого начала деятельности Гильдии мы поставили одной из задач сделать материалы по теории и практике лингвистических экспертиз текстов СМИ (да и всех других наших исследований и методических разработок) максимально доступными для всех представителей журналистики, юриспруденции, филологии, для любого пользователя. Для этого на первых порах мы завели в Интернете свою страничку, впоследствии переработанную в полноценный веб-сайт. Его зеркало поддерживается Яндексом – www.expertizy narod.ru. Его наличие значительно облегчает нашу работу и очень полезно с просветительской, образовательной и информационной точек зрения. Судите сами – по названиям его разделов: “История Гильдии”, “Публикации о Гильдии”, “Образцы экспертиз” (с подразделами “Типовая научная справка”, “Типовое экспертное заключение”, “Запрос юридического лица на проведение экспертизы”), “Научный журнал”, “Наши партнеры”, “Вступление в Гильдию”, “Книжная полка” (полные электронные версии трех книг), “Полезные ссылки”, “Фотоархив Гильдии”, “Семинары”, “Наши реквизиты”.

– *Ваша Гильдия ведет активную издательскую деятельность. Что у Вас в издательских планах или, как говорят в журналистике – “в портфеле редакции”?*

– Мы успешно разработали концепцию и композицию уникального справочно-методического пособия “Лингвистические экспертизы текстов СМИ: Пособие для журналистов, юристов и филологов – участников судебных процессов по защите чести, достоинства и деловой репутации”. Сейчас ищем российских и зарубежных спонсоров, которые помогли бы нам профинансировать издание этого пособия. Кстати говоря, сейчас у нас заканчивается тираж книги “Цена слова. Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации”, в третье издание которой вошли тексты 31 экспертного заключения и некоторые методические материалы. В книге более 420 страниц! Пока небольшой остаток экземпляров еще есть в наличии, рекомендую всем заинтересованным лицам и организациям, которые хотели бы иметь книгу в своей библиотеке, связаться с нами по электронной почте mivigo@dol.ru. В ответ вам сообщат об организационных условиях получения этой книги по почте.

– Михаил Викторович, каковы основные советы, которые могут дать молодым журналистам эксперты-лингвисты из ГЛЭДИС, составившие не один десяток экспертных заключений по текстам СМИ в связи с судебными исками к редакциям газет и журналов, радио и телевидения, к их сотрудникам?

– Наш опыт по проведению судебных лингвистических экспертиз убеждает, что журналисту – не только и не столько в целях “вербальной, или речевой, безопасности” (но тоже и в этих целях!) весьма полезно и жизненно необходимо – как одно из фундаментальных условий профессионализма! – задумываться над словами, их взаимным соединением во фразе, в тексте, вникать в их словарные значения и те дополнительные осмысления (“сознания”, как говорят лингвисты), которые они могут приобретать в том или ином контексте, ситуации.

Вот почему в наше время, в начале XXI века, актуальны мысли, высказанные в прошлом, о важности вдумчивого, осмотрительного употребления слов, использования всех языковых средств и их целесообразной организации в высказывании, в предложении, в тексте; четкого выражения мысли и отношения автора к тому, о чем (или о ком) он пишет, говорит.

В Древней Руси существовало мудрое правило: “Не омочив языка в уме, много согрешишь в слове”. Оно, как очевидно, не устарело. Рене Декарт, великий французский мыслитель, сказал: “Верно определите слова, и вы освободите мир от половины недоразумений”. Не случайно А.С. Пушкин напомнил своим современникам эту глубокую мысль. В самом начале XIX века один из замечательных русских филологов, рано умерший и забытый потомками, С.Г. Салорев, проникновенно писал: “Желательно, чтобы все скорее (...) уверились, что хорошо говорить и писать, значит хорошо мыслить – дело трудное и великое”.

И еще об одном аспекте журналистской деятельности побуждают сказать лингвистические экспертизы.

Многие конфликты, ставшие предметом судебных споров, убеждают в том, какое громадное, принципиальное значение для профессиональной доброкачественности журналистского материала (а также и устного публичного выступления) имеет этическая установка создателя текста.

Лозунг “Газету надо делать чистыми руками”, родившийся на факультете журналистики МГУ в конце 50-х годов, остается в силе при всех обстоятельствах!

Беседу записал
М. Красильников

Имя собственное в культуре и речи

О.Е. ФРОЛОВА,
кандидат филологических наук

Имя собственное, называющее человека (антропоним), может относиться к реальному человеку (*Пушкин, Хрущев*), а также к литературному или мифологическому персонажу (*Анна Каренина, Зевс*). При этом известное имя может быть подлежащим или дополнением в предложении (*Обломов Ганчарова стал одним из самых популярных персонажей русской литературы*) или семантическим предикатом (*Ну, ты – просто Обломов*).

Довольно большая группа антропонимов, известных практически всем носителям русского языка и культуры, тяготеет, прежде всего, к тому, чтобы указывать на носителя имени: Александр Первый, Александр Невский, Алексей Второй, Анна Андреевна Ахматова, Борис Годунов, Леонид Ильич Брежнев, Иосиф Александрович Бродский, Николай Иванович Вавилов, Наташа Ростова, доктор Живаго. За каждым именем здесь стоит некоторое мысленное досье, фиксирующее, как правило, набор достижений или достоинств его носителя. Сравнительно меньшая группа имен, способна занимать позицию семантического предиката в предложении: Пушкин, Баба-Яга, Дед Мороз, Обломов. Они олицетворяют сформировавшиеся в языковом и культурном сообществе типовые представления о некоторых ситуациях и качествах (см.: Гудков Д.Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. М., 1999). Имена собственные обеих групп активно используются в языке средств массовой информации. Употребление антропонимов первой группы рассчитано на узнавание и апеллирует к экстралингвистическим знаниям носителя языка. Антропонимы второй группы значительно активнее воспроизводятся в повседневном устном общении и обиходной речи. Именно эти имена собственные способны к семантическим переносам.

Можем продемонстрировать различие в функционировании имени собственного в “непредикатном” и предикатном режиме. Энциклопедический словарь фиксирует информацию о носителе имени «Сусанин Иван Осипович – крестьянин Костромского уезда. Зимой 1613 г., спасая царя Михаила Федоровича, завел отряд польских интервентов в непроходимое лесное болото, за что был замучен. Подвигу Сусанина посвящена опера М.И. Глинки “Жизнь за царя” (“Иван Сусанин”)» (Большой энциклопедический словарь. М., 1997. С. 1166). Что касает-

ся предикатного употребления, в конструкции *Ты – просто Сусанин* так называют человека, намеренно заведшего кого-либо туда, куда ведомый не намеревался попасть.

На наш взгляд, позиция семантического предиката в высказывании является критерием, определяющим степень включенности антропонима в речь и культуру.

Русскому человеку предложения *Он – второй Пушкин*, *Он – будущий Рихтер*, *Он – настоящий Обломов* будут понятны без дополнительных пояснений. Это и будет для нас критерием способности имени собственного полноправно функционировать в качестве семантического предиката. Конструкция *Он – как Репин* потребует показать, на каком основании проводится сравнение. Однако не все единицы второй группы антропонимов могут употребляться в перечисленных конструкциях.

Фраза *Он – как имярек* может быть названа универсальной, однако чаще всего антропоним требует от говорящего или пишущего выделения аспекта сравнения (см.: Арутюнова Н.Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика. М., 1979). Высказывание *Он – как Пушкин* может не требовать разъяснения, потому что говорящий имеет в виду гениального поэта, но в разных ситуациях может быть дополнено в зависимости от контекста. Предложение *Он – как Королев* нуждается в продолжении в значительно большей степени, так как непонятно, что имеет в виду говорящий: звание академика, факт награждения медалью “Герой Социалистического Труда”, причастность к первым запускам космических аппаратов в СССР, развитие космической промышленности, блестящие организаторские способности, пребывание в местах заключения в конце тридцатых – в роковые годы.

При употреблении антропонима первой группы в составе предиката как + антропоним от говорящего требуется прояснение основания сравнения: *Он пишет пейзажи, как Поленов*; *Она гибка, как Плисецкая*; *Она миниатюрна, как Екатерина Максимова*; *Она неувядаема, как Гурченко*; *Он энергичен и напорист, как Каспаров*. Употребление антропонима в этой конструкции, не снимая различий между группами, свидетельствует, тем не менее, об отсутствии непреодолимой границы между ними.

Конструкция *Он – имярек* требует употребления в позиции предиката антропонима, который в сознании носителя языка и культуры обладает одним или несколькими ярко выраженными качествами, стилевым единством, наиболее ярким проявлением в какой-либо ситуации: *Пушкин*, *Сусанин*, *Плюшкин*, *Казанова*, *Дон Жуан*.

Уже модель *Он – настоящий имярек* накладывает определенные требования на особенности функционирования антропонима: к данной конструкции тяготеют имена литературных персонажей, пози-

цию предиката значительно реже могут занимать имена реальных исторических лиц: *Он – настоящий Плюшкин, Собакевич, Сусанин, Казанова, но не *Он – настоящий Пушкин, *Он – настоящий Достоевский, *Он – настоящий Толстой, *Он – настоящий Чехов*. Сочетаемость с прилагательным *настоящий* требует от антропонима выявления признака интенсивности одного или нескольких качеств. На наш взгляд, в составе предиката прилагательное *настоящий* выступает в значении “действительно такой, какой должен быть; представляющий собой лучший образец, идеал чего-л.” (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 394). Трудность сочетаемости в позиции предиката антропонима, называющего реальное историческое лицо, с прилагательным *настоящий* – в невозможности сведения многообразных проявлений человека к “монохромности” – одному или нескольким качествам. Например, в конструкции *Он – настоящий Казанова* имя *Казанова* олицетворяет в сознании носителя одну, главную, характеристику – неутолимое женолюбие. Словосочетание *настоящий Сусанин* связано только с одной известной ситуацией.

Сочетаемость прилагательного *настоящий* с именем литературного персонажа также не универсально. Как правило, *настоящий* в предикате не сочетается с именами психологически сложных персонажей. Без объяснения основания предикации нельзя сказать: **Она – настоящая Наташа Ростова, *Он – настоящий Печорин, *Он – настоящий Пьер Безухов, *Он – настоящий Чацкий, *Он – настоящий Онегин, *Он – настоящий дядя Ваня*. Для литературного персонажа важно максимальное проявление какого-либо качества, чаще отрицательно маркированного. Облик литературного персонажа при этом стремится к маске комедии дель арте.

Следует оговорить употребление имен реальных исторических лиц в сочетании с прилагательным *настоящий*, где позиция субъекта чаще всего занята местоимением *это*: *Это – настоящий Левитан, Поленов, Феллини, Параджанов, Рахманинов, Малевич*. В подобных фразах говорящий имеет в виду не человека, а его произведение. При этом речь может идти об атрибуции – определении авторства произведения искусства.

Подобно слову *настоящий* в сочетании с антропонимом ведет себя прилагательное *типичный*, принимая по преимуществу имена литературных персонажей “дель арте” и лишь ограниченное число имен реальных исторических лиц: *Он – типичный Плюшкин, Он – типичный Казанова, но не *Он – типичный Андрей Болконский или *Он – типичный Пушкин*.

В составе предиката числительное *второй* сочетается с антропонимом, называющим реальное лицо: *Он – второй Пушкин, Он – второй Достоевский, Он – второй Толстой, Он – второй Чехов*. Несочетаемость числительного *второй* с именами литературных персона-

жей можно объяснить тем, что они мыслятся культурой как уникальные создания чьей-то авторской воли и допускают повторения.

Предикат *второй + антропоним* можно интерпретировать как появление у субъекта аналогичных качеств в развитии, сопоставимом с носителем имени собственного. При этом существуют некоторые ограничения, накладываемые на имя собственное в составе предиката *второй + антропоним*, называющего реальное историческое лицо: наличие таланта, значительная степень развития какого-либо ограниченного количества качеств, что воспринимается культурой как высокий уровень мастерства, присутствие ведущей темы творчества или узнаваемой стилистики. Поэтому возможно: *Он – второй Серов, Он – второй Шалапин, Он – второй Рихтер, она – вторая Плисецкая*, но невозможно: **Он – второй Поленов, *Он – второй Флоренский, *Он – второй Сергей Радонежский*. Например, фраза, в которой некто назван вторым Поленовым, непонятна, так как этот художник известен как автор “Московского дворика”, бытовых картин (“Большая”), полотен на исторические и религиозные темы (“Христос и грешница”), в том числе Евангельского цикла, т.е. не выделены те качества или доминанта наследия художника, на основании которых можно было бы осуществить предикацию.

Числительное *второй* предполагает счетность, поэтому невозможна его сочетаемость с именами, воплощающими духовные искания, которые мыслятся в культуре как уникальные.

При неожиданном для слушателя сочетании имени собственного с числительным *второй* говорящий вынужден пояснить, что имеет в виду. Так поступил и А.С. Пушкин в “Евгении Онегине”, показав, на каком основании он сопоставляет своего хорошего знакомого и персонажа:

Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений.
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.

Аналогично ведут себя предикаты *будущий + антропоним*, *новый + антропоним*. В таких предикатах, как правило, употребляются имена собственные, называющие реальных исторических лиц: *Он – новый Пушкин, Он – новый Рихтер, Он – будущий Пушкин, Он – будущий Рихтер*. Новый в редких случаях может принимать антропоним, называющий литературного персонажа: *Он – будущий Остап Бендер*. Однако мы можем предположить, что в этом случае в составе предиката *будущий + антропоним* органичнее имя литературного персонажа, развитие качеств которого связано с его сознательными усилиями, поэтому значительно хуже звучит **N – будущий Плюшкин*.

Универсальной сочетаемостью в составе предиката обладают частицы *просто* + *антропоним*, *прямо* + *антропоним*, принимая и имена реальных исторических лиц, и имена литературных персонажей: *Он – просто Пушкин; Он – просто Дон Жуан; Она – прямо Баба-Яга; Он – прямо Суриков*. Словарь толкует частицу *просто* как а) обладающую усиливающим эффектом по отношению к слову и высказыванию, к которым она относится и б) имеющую значение “то, что легко объяснить и нетрудно понять” (Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 622). Частица *прямо* толкуется там же как выражение однозначности, несомненности.

Предикаты *просто* + *антропоним*, *прямо* + *антропоним* часто употребляются с неопределенным местоимением *какой-то*, что с известной осторожностью все же позволяет нам отнести эти предикаты к таким, которые обозначают класс объектов. В эту же группу можно включить предикаты *типичный* + *антропоним*, *второй* + *антропоним*, *будущий* + *антропоним*.

Притяжательное местоимение *наш* в составе предиката с антропонимом предполагает, во-первых, сопоставление своего и чужого: *наш Гете, наш Наполеон* (к этой позиции тяготеет антропоним, заимствованный из чужого языка и чужой культуры), во-вторых, – сопоставление целого и части в рамках одной культуры: *наш Пушкин*.

Подведем итоги: способность антропонима включаться в состав семантического предиката позволяет интерпретировать имя собственное как сокращенное описание, относящееся к одному максимально развитому качеству или поведению в определенной ситуации. Наблюдения над функционированием антропонима в бытовой устной речи показывают, что в некоторых случаях запреты на сочетаемость свидетельствуют о неоднородности состава второй группы имен собственных, способных к предикатному употреблению. С определителями *новый*, *второй*, *будущий* в составе семантического предиката сочетаются имена реальных исторических лиц, при этом такие предикаты подразумевают возможность повторения и роста тех качеств, которые предикатуются субъекту. Имена литературных персонажей, сочетающиеся в составе предикатов с прилагательными *настоящий*, *типичный*, предполагают интенсивность, воспроизводимость в основных (доминантных) характеристиках носителя имени.

Мы стремились показать, каким образом культура накладывает запрет на сочетаемость тех или иных единиц языка. Культура вырабатывает систему эталонов, с помощью которых говорящий может соотносить явления, уже приобретшие известность и ценность, с новыми. В качестве такого эталона выступает имя собственное. Речь различает образцы, пришедшие из реальной жизни: *Суворов, Сусанин, Пушкин* и сформированные в самой культуре – *Чичиков, Плюшкин*. При этом граница между *Казановой* и *Дон Жуаном* с точки зрения сочетаемости в составе семантического предиката оказывается нечеткой.



**Дмитрий
Николаевич
Овсянико-Куликовский
1853–1920**

150-летие со дня рождения Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского – не только повод напомнить читателям его труды и заслуги в науке, но и вновь обратиться к личности филолога, столь неоднозначно воспринимавшегося при жизни, ценимого своими учениками и коллегами и почти забытого нашими современниками. Его работы, в частности, по языкознанию, до сих пор не переизданы, а научное наследие Д.Н. Овсянико-Куликовского в течение многих лет не было широко представлено в нашей лингвистической науке и учебной практике. Отчасти этому можно найти такое объяснение: ученого знали в основном как крупного литературоведа, биографа, исследователя-историка русской интеллигенции.

Д.Н. Овсянико-Куликовский родился в Малороссии в с. Каховка Таврической губернии (ныне Херсонская обл. Украины) в дворянской семье. Обучался он в Ришельевской гимназии в Одессе и в Симферопольской гимназии. Затем – на историко-филологических факультетах Петербургского и Новороссийского университетов. Он получил степень кандидата в 1876 г. за сочинение “О языке Повести временных лет” и готовился к профессорскому званию по кафедре сравнительного языкознания и санскрита. В течение жизни Д.Н. Овсянико-Куликовский сменил несколько мест учебы и работы: Петербург – Казань – Харьков – вновь Петербург – Одесса. Он преподавал также

на Высших женских курсах, где читал лекции по психологии художественного творчества. В 1907 г. его избрали действительным членом Академии наук.

Из языковедческих трудов, вошедших в свое время в научный оборот, были известны, в основном, его учебные курсы и пособия по грамматике: “Синтаксис русского языка” (1-е изд. СПб., 1902) – удостоен Московским университетом премии имени Поливанова, “Грамматика русского языка” (2-е изд. М., 1908), “Руководство к изучению синтаксиса русского языка” (2-е изд. М., 1909), “Практический курс синтаксиса русского языка. Для 3-го (4-го) класса среднеучебных заведений” (СПб., 1912; совместно с П.Н. Сакулиным). Д.Н. Овсяннико-Куликовского особенно привлекали синтаксические “штудии”. В этом вопросе он был учеником и последователем признанного филолога-классика А.А. Потебни и, естественно, находился под влиянием его психологических идей. В Предисловии к самому известному труду “Синтаксис русского языка” Овсяннико-Куликовский так определил назначение своей работы и роль его учителя в формировании лингвистического мировоззрения автора: «Предлагаемая книга представляет собою попытку общедоступного изображения научного синтаксиса русского языка.

В основу изложения положена *система Потебни*. Автор разделяет точку зрения, научные принципы и большую часть выводов этого ученого.

Нелишне отметить здесь следующее правило Потебни, последовательно проведенное в этом труде: синтаксические формы современного языка следует понимать и определять их по современному синтаксическому значению, а не на основании их прежнего значения или их морфологического происхождения. Поэтому инфинитив признается глаголом, а не отглагольным существительным; форма, напр., “стола” в выражении “два стола” принимается за то, чем является она ныне в грамматическом сознании говорящих, т.е. за особую разновидность родительного падежа ед. ч., а не за то, чем она была когда-то (имен.-вин.двойств.); глагольные формы вроде только что употребленных “признается”, “принимается” отнесены к страдательному залогу и т.д.» (Овсяннико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1912. С. V).

Стоит заметить, что ученый не был лишь теоретиком синтаксиса, он был и практиком, так как стремился донести высокие научные истины прежде всего ученикам и студентам. И вообще, надо сказать, что Д.Н. Овсяннико-Куликовский не стоял в стороне от общественной деятельности в науке. Одним из ярких свидетельств тому является приложение “К реформе школьной грамматики русского языка” к названной книге, где он подверг критическому разбору позиции современников относительно преподавания и трактовки ряда языковедческих проблем.

Менее известны, но для специалистов-востоковедов весьма ценны исследования Д.Н. Овсяннико-Куликовского в области санскритологии. С этого началась его учебная и научная деятельность. В 1880-е годы в Новороссийском университете он читал курс лекций по санскриту и сравнительной грамматике индоевропейских языков. А в 1887 г. защитил диссертацию на соискание докторской степени, которая называлась “К истории культа огня у индусов в эпоху Вед” (подробнее об этой стороне научного наследия см.: Ольденбург С.Ф. Д.Н. Овсяннико-Куликовский, санскритист и лингвист // Начала. 1922. № 2. С. 7–11).

О другом увлечении ученого начали говорить только в наши дни, когда вновь возрос интерес к психологии творчества (в том числе и филологического). Можно сказать, что вслед за А.А. Потебней из языковедов Д.Н. Овсяннико-Куликовский был едва ли не самым интересным специалистом и оригинальным мыслителем в этой области. В 1895 г. он выпустил отдельную книгу “Язык и искусство” в санкт-петербургской серии “Русская библиотека”, где довольно подробно рассматривались сложные вопросы взаимоотношения науки и творчества. Книга открывалась такой, не потерявшей смысла и сейчас, фразой: “Художественное творчество и так называемое эстетическое наслаждение принадлежат к числу высших и наиболее сложных явлений нашей психики (так у автора. – *О.Н.*). Их исследование представляет большие трудности и до сих пор еще, не взирая на усилия многих выдающихся исследователей, тайны искусства, поэзии, творчества продолжают оставаться тайнами” (С. 3). Показательно, что первоисточником искусства Д.Н. Овсяннико-Куликовский считает язык (С. 4), а знаменитая книга А.А. Потебни “Мысль и язык”, указавшая на связь искусства с некоторыми явлениями словесного творчества, стала для ученого отправной точкой в его рассуждениях по данному вопросу.

Отмеченное исследование выглядит скорее как размышления над проблемой, своего рода “пролегомены” к тому, чем будет заниматься наука XX столетия, сделавшая, как известно, основные открытия в этой области. Но все же мы не удержимся от того, чтобы не процитировать некоторые мысли ученого. Вот, например, что он говорит о понятиях: “Понятия суть обобщенные образы, в которых собраны общие и существенные признаки соответственной группы представлений. Но из этого еще не следует, чтобы признаки частные и несущественные для понятия были совсем устранены из его схемы: они только отодвинуты на второй план. Усилиями сознательной мысли понятия очищаются от этой примеси, т.е. мы на почве рационального мышления воспитываем в своем уме привычку мыслить по возможности чистые понятия, – приучаемся сосредоточивать внимание на одних общих и необходимых признаках и не останавливаться на признаках частных и второстепенных. {...}

Итак, мы мыслим не чистые понятия, а воплощенные, – и в этом виде они могут по праву рассматриваться, как образы художественные, как художественные произведения в миниатюре, ибо в них мы находим то соединение абстрактного с конкретным, которое образует душу искусства. С этой точки зрения каждый отдельный акт мышления понятий есть как бы акт маленького художественного творчества” (С. 8–9).

Еще одна работа, с другой стороны освещающая подобные проблемы, – “О значении научного языкознания для психологии мысли”, – представляет собой речь, прочитанную ученым на торжественном акте Харьковского университета 17 января 1901 г. Некоторые тезисы доклада кажутся небезынтесными. Так, Д.Н. Овсянко-Куликовский спрашивает, что такое *слово*, и делает следующее пояснение: “Есть одно весьма распространенное недоразумение, встречавшееся даже в ученых трудах: это именно тот взгляд, в силу которого *язык*, противопоставляемый (так у автора. – О.Н.) *мысли*, понимается исключительно как средство передачи, как орудие общения. По этому ошибочному воззрению, *слово* есть только внешняя, звуковая оболочка представления и понятия; оно – не более, как знак или символ, служащий для выражения и передачи другим того, что происходит в уме человека. {...}

Коренная ошибка этого воззрения состоит в том, что оно отождествляет слово с теми членораздельными звуками, которые образуют лишь часть слова, именно – его *внешнюю, звуковую форму*. Здесь, следовательно, часть берется вместо целого, но только не для обозначения целого {...}, а для того, чтобы, забыв о других частях, ошибочно выдавать избранную часть за целое. Для наглядности, – пишет далее он, – приведу, как пример, ошибочное понимание какого-нибудь выражения типа *pars pro toto* (часть вместо целого), хотя бы такой: слово *голова* употребляется для обозначения целого животного, напр., 100 голов рогатого скота и т.п. Так вот представим себе, что кто-нибудь вообразил, будто тут голова противопоставляется остальному туловищу, и что дело идет о 100 головах, отделенных от туловища. Вот именно в подобную ошибку впадают те, которые под *словом* понимают только звуковую форму, отделяя ее от других частей слова и противопоставляя *слово* его части, т.е. тому представлению и понятию, которое образует его неотъемлемую часть и называется лексическим значением” (Цит. по изд.: Записки Имп. Харьковского университета за 1901 г., кн. 2. Отд. оттиск. С. 2–3).

Как представитель психологического направления, его пропагандист и тонкий мыслитель Д.Н. Овсянко-Куликовский и слово рассматривает по-особому – как явление “психическое”. Возможно, что методологические установки такого подхода теперь уже в чем-то устарели, но сама идея является продуктивной и сейчас и заставляет уже

нынешнее поколение ученых искать и находить *новые* горизонты лингвистических исследований, причем опираясь (даже если они этого не знают) на поучительный опыт почтенного ученого. Обратимся к предложенной им трактовке понятия “слово” и еще раз убедимся в том, насколько педантично, оригинально, по-своему, но в рамках научного мировоззрения он представляет себе данный феномен. “Слово, – говорится далее, – есть сложный психический процесс, принадлежащий к тому отделу психики, который называется *мыслью*, и сводящийся к известным процессам *ассоциации* и *апперцепции*. Фонограф этих процессов, конечно, не имеет, ибо не имеет психики, и потому слова, им произносимые, не суть слова – у *него*; но они превращаются в настоящие слова у человека, который слышит их, и у которого звуки фонографа вызывают соответственные процессы ассоциации и апперцепции. У попугая нет слова потому, что, по условиям его психики, все дело ограничивается у него артикуляционно-звуковой ассоциацией, которая ... сама по себе еще не составляет слова” (Там же. С. 4–5).

Итак, Д.Н. Овсяннико-Куликовский, пожалуй, один из немногих ученых того времени, которого интересовали, притом не поверхностно, очень разнообразные и непростые проблемы: от грамматических изысканий и синтаксиса до санскритологии, теории и истории литературы. О последней его страсти более всего известно: психологическое направление в русском литературоведении входит в программу вузовских курсов. Но все же позволим себе сказать несколько слов и об этом, ведь филологический облик ученого невозможно понять, познакомившись только с одной стороной его деятельности. А именно Д.Н. Овсяннико-Куликовский как виднейший литературовед-психолог и стал известен научному миру, создав подлинные шедевры художественного творчества – монографии и книги “Н.В. Гоголь”, “А.С. Пушкин”, “И.С. Тургенев”, “Этюды о творчестве А.П. Чехова”, статьи по теории литературы, в которых с присущим ему психологизмом “допытывался” того, что обычными, традиционными методами понять было невозможно. Вот некоторые тезисы из трудов ученого в этой области. Его интересовали “наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве”, “идея бесконечного в положительной науке и в реальном искусстве”, “душевная драма” Н.В. Гоголя, Гоголь как “моралист и мистик”, “психология злых страстей” у А.С. Пушкина и его художественные “мистификации” и многое другое.

Д.Н. Овсяннико-Куликовский был не только “обычным” литературоведом-исследователем, но еще и бытописателем, даже биографом своей эпохи, ее характеров, стремлений и свойств. Этому посвящен капитальный труд “История русской интеллигенции”, где даны черты психологических типов XIX века: от Чацкого и Печорина до обломовщины и политической сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Наконец, весьма ценны и познавательны “Воспоминания” ученого – очень откровенные и живые, написанные прекрасным русским языком. В них видны истоки его научного творчества и “интерес к аномальному”, в них обозначено то, что было душевной страстью всей его жизни, – “культ науки и гуманности” (так называлась одна из глав его “Воспоминаний”). Там же, кроме биографических деталей, даны и содержательные очерки об ученых. Среди них с особой трогательностью написана статья об Александре Афанасьевиче Потембе. Кажется, что слова, высказанные в адрес обожаемого учителя, можно отнести и к его талантливому и преданному науке ученику: «Когда тот или иной поборник науки выступал на ее защиту, не замечая, что одному кумиру он противопоставляет другой, Потемба к таким выступлениям относился отрицательно и саркастически. “Некоторые из молодых ученых, – говорил он, – считают долгом заступаться за науку, точно она им невеста, жена или теща...”, “Защищайте не науку, а свободу – и сами будьте внутренне свободны”» (курсив в подлиннике; цит. по изд.: Овсяннико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы. В 2-х т. Т. 2. М., 1989. С. 483).

Подобно своему учителю, Д.Н. Овсяннико-Куликовский и в своей жизненной позиции, и в ученых трудах стремился к свободе и жил ощущением подлинного творчества. Его филологическое наследие, думается, нуждается сейчас в новом прочтении и осмыслении, а богатый научный опыт, изысканный стиль, исключительная эрудиция помогут и нынешнему поколению исследователей и читателей лучше понять философию человека редкого дарования и оригинального психологического мышления – Дмитрия Николаевича Овсяннико-Куликовского.

О.В. Никитин

С. С. ВЫСОТСКИЙ.

Д.Н. Ушаков и русская диалектология

В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушакова – видного русского ученого, историка русского языка, лексикографа, организатора многих крупных научных и общественных начинаний, “учителя учителей”. О нем уже немало написано и сказано¹, но появились новые архивные находки, которые могут органично вписаться в стройный ряд уже известных высказываний. Речь идет о воспоминаниях коллег Ушакова о нем самом.

Но прежде вкратце расскажем о вехах славной биографии ученого.

Хотим особо подчеркнуть, что Д.Н. Ушаков, москвич по рождению (большую часть жизни он провел в арбатских переулках, уголках старой Москвы, на Сивцевом Вражке), с детских лет впитал культурную среду образованного общества (его отец был глазным врачом, доктором медицины, а мать – дочерью священника).

Д.Н. Ушаков окончил 5-ю московскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Императорского Московского университета, где прошел школу у крупнейшего русского языковеда академика Ф.Ф. Фортунатова, славившегося своими познаниями в истории филологии. Подобно учителю, и Д.Н. Ушаков вначале занимался “древностями”: изучал склонение у Гомера (так, кстати, называлась тема его кандидатского сочинения), сравнительное языковедение, санскрит, старославянский язык и многое другое.

После окончания университета в 1895 г. он долгое время преподавал в средней школе, в позднее свою учебную практику совмещал с работой в Московском университете и на Высших женских курсах уже в качестве приват-доцента. Особое внимание как ученый и педагог он уделял родному языку, его говорам, культуре речи. А с созданием Московской диалектологической комиссии, у истоков которой стояли выдающиеся русские ученые академики А.А. Шахматов и Ф.Е. Корш, он стал ее деятельным участником, а позднее – председателем, собрав вокруг себя славную когорту единомышленников – учеников и коллег – Н.Н. Дурново, А.М. Селищева, М.Н. Петерсона, И.Г. Голанова, А.А. Буслаева, Р.О. Якобсона, П.Г. Богатырева, Г.О. Винокура, В.Н. Сидорова, С.С. Высотского, Р.И. Аванесова и других. Эти годы вдохновенной работы в комиссии он вспоминал с особенной теплотой².

С конца 1920-х годов Д.Н. Ушаков становится во главе авторского коллектива по подготовке первого толкового словаря советской эпо-

хи. Позже его назовут “ушаковским”. И это действительно так: на ученом лежала тяжелая ноша всей организационной работы, им был собран коллектив авторитетнейших молодых ученых, специалистов по лексикографии, стилистике, истории русского языка. С.И. Ожегов, Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, Б.А. Ларин, Б.В. Томашевский – эти имена его соратников и ближайших помощников вошли в историю как самоотверженные “движители” (выражение С.И. Ожегова) словаря. Позднее один из учеников Д.Н. Ушакова Р.И. Аванесов так скажет об этом детище своего учителя: «“Толковый словарь русского языка” под редакцией Д.Н. Ушакова ознаменовал собой новую эпоху в истории русской лексикографии. Это был первый толковый словарь современного литературного языка, сознательно ставящий задачу нормализации языка, носящий нормативный характер».

Во времена репрессий и гонений на ученых Д.Н. Ушаков, зная о возможных последствиях, всегда старался помочь своим коллегам найти работу и, что самое главное, – сохранить жизнь. Он не раз хлопотал за В.В. Виноградова, В.Н. Сидорова, А.М. Селищева и проявил себя в эти годы как подлинный интеллигент, мужественный человек и настоящий ученый, “чистый сердцем человек” (так назвал Д.Н. Ушакова один из участников заседания памяти ученого в 1942 г.).

Человеческий облик Дмитрия Николаевича был бы не полон, если не рассказать об одной его душевной страсти, которой, как и словарному делу, он отдавался весь, погружаясь в мир живых красок любимой природы, в мир гармонии. Д.Н. Ушаков был профессиональным художником-акварелистом, тонко чувствовавшим переливы и оттенки “художественной” жизни. В этом не было никакого позерства. Наоборот, именно здесь он находил живое и естественное... Именно здесь язык как духовное творение и искусство как особый мир соединялись в одну линию. А.А. Реформатский очень верно подметил эту черту: «Ушаков всегда искал в языке живое и современное, отсюда его постоянный интерес к звучащей речи, к проблеме нормы в орфоэпии и письме, к речи на сцене, к языку художественной литературы. Я бы добавил к этому еще одну черту Дмитрия Николаевича: он был настоящий художник-живописец; он писал маслом, рисовал карандашом, но больше всего любил акварель. Отдыхая осенью в Болшеве, Дмитрий Николаевич привозил оттуда обычно коллекцию своих акварельных рисунков, где особое место занимали “небеса” (и чистые, и с различной причудливой раскраской облаков) и листья... Этот стиль акварельной миниатюры был присущ Дмитрию Николаевичу органически и проявился во всем, будь то лекция, статья, обработка словарного абзаца или забавная поговорка, удачный каламбур или ладно скроенный анекдот».

Последние несколько лет перед Великой Отечественной войной Д.Н. Ушаков работал в Институте языка и письменности АН СССР и

легендарном МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории), занимая должность заведующего кафедрой славяно-русского языкознания. И опять он собрал здесь лучшие силы, способные с подобающей глубиной, педантичностью и одновременно живой исследовательской интонацией преподавать русский и славянские языки, спецкурсы по языковедческим дисциплинам, защищать диссертации. Все это лежало на плечах Д.Н. Ушакова, воспитавшего не одно поколение талантливых преподавателей.

В первые месяцы войны Д.Н. Ушаков вместе с сотрудниками Института языка и письменности был эвакуирован в Ташкент. И там он проявил себя как умелый организатор научной работы и деятельный педагог, занимаясь составлением словарей и продолжая верить в счастливую судьбу русской науки...

17 апреля 1942 года в эвакуации в Ташкенте закончился жизненный путь Дмитрия Николаевича Ушакова. Он навсегда вошел в историю не просто как ученый, а своеобразный символ эпохи.

Публикуемый далее доклад ученика Д.Н. Ушакова известного отечественного лингвиста, диалектолога, историка русского языка Сергея Сергеевича Высотского был прочитан 23 июня 1942 г. на заседании, посвященном памяти Д.Н. Ушакова, где также прозвучали вослед ушедшему искренние слова и других его коллег и учеников – А.М. Еголина (декана филологического ф-та МИФЛИ), Г.О. Винокура, С.И. Ожегова, А.А. Реформатского, В.А. Филиппова, М.Н. Петерсона и Н.Н. Щепетовой. Выступления Г.О. Винокура, С.И. Ожегова и А.А. Реформатского, изданные ранее Н.Д. Архангельской и Т.Г. Винокур³, вызвали большой научный интерес и общественный резонанс.

Выступление С.С. Высотского публикуется впервые по машинописной копии “Стенограммы заседания филологического факультета МГУ и Института языка и письменности АН СССР, посвященного памяти Д.Н. Ушакова” (Архив РАН. Ф. 502. Оп. 2. Ед. хр. № 14а. Лл. 60–66). Незначительные исправления текста и погрешности первоисточника исправлены нами при публикации без специальных оговорок.

* * *

Тяжелую утрату переживает сейчас наша наука, так как развитие русской диалектологии было тесно связано с именем ушедшего от нас Дмитрия Николаевича Ушакова.

Начало своей педагогической деятельности он посвящает разработке новой тогда отрасли русского языкознания – изучению русского языка в его говорах.

Ученик и продолжатель традиций Фортунатова⁴, современник открытий Шахматова⁵ в области истории языка, современник исследо-

вательских поездок Брока⁶, создавших эпоху в русской диалектологии, Дмитрий Николаевич отдает должное значение диалектологии, ее удельному весу в историческом и теоретическом языковедении.

На рубеже XIX и XX веков скопился обширный материал по описанию говоров, но этот материал был разнородным по глубине изучения и широте охвата. При наличии целого ряда ценных исследований, отдельные работы не получали схождения. Было ясно, что период собирания материалов по говорам не только не закончился, а лишь открывался. Все настойчивее выступала идея создания диалектологической карты, объединяющей, наглядно локализирующей достижения описательной диалектологии. Эта карта должна была представить предварительную ступень, послужить базой, организующей дальнейшее собирание фактов народной речи.

Выполнению этой задачи посвятил себя Дмитрий Николаевич, приняв участие в коллективной работе Московской диалектологической комиссии. Идея карты популяризируется в печати, в научных обществах, заводится обширная корреспонденция и живые сношения с местами, организуются поездки исследователей, регулярно читаются научные доклады, как отчетного, так и теоретического содержания, под редакцией Дмитрия Николаевича периодически выходят сборники – известные “Труды Московской диалектологической комиссии”⁷. Вокруг общего дела собирается научный коллектив, насчитывающий несколько десятков маститых, а также начинающих ученых.

Создание карты получает реальную возможность. Материал солидных монографий сопоставляется и разрабатывается согласно требованиям картографирования. Свободные места на карте наполняются данными из сотен ответов корреспондентов периферии, привлекаются сведения, собранные Академией по старым программам, и вот – наглядно реализуется то, что существовало в отвлечении и разрозненных и, порой, неполных описаниях – возникает величественная картина русского языка в его народных говорах, как бы овеществляется его жилище, его географическое распространение. Вместе с границами наречий встают контуры расположения древнерусских племен, 1000 лет назад столкнувшихся под влиянием грандиозных исторических потрясений. Намечаются более поздние границы – рубежи средневековых государственных и административных образований – Литовской Руси, Замосковского края.

Дмитрий Николаевич не только проводит лично громадную работу по организации сводного материала, но и вкладывает в него свой опыт исследователя подмосковных говоров, помогая соавторам Соколову и Дурново разрабатывать сложнейшую проблему переходных среднерусских говоров, из которых один послужил базой для русского литературного языка.

Появление в 1915 г. “Опыта диалектологической карты русского языка в Европе”⁸ вызвало ряд известных противоречивых отзывов, показавших, что некоторые ученые разделяли другие идеи в области методологии сбора и обработки материала живых народных говоров. Иногда в корне таких высказываний лежала неправильная концепция, отрицающая реальность диалекта как объективно существующей в настоящее время единицы языка. Иные, предвосхищая возможность создания Атласа русского языка, смешивали опыт карты с атласом, не оценив презумптивный характер вышедшего труда.

Лучший ответ на это можно почерпнуть из устных и письменных выступлений Дмитрия Николаевича.

В предисловии к Опыту Карты сказано, что выпускаемый в свет труд Московской диалектологической комиссии – работа предварительная, рассчитанная не на специалистов, а на более широкий круг читателей, что этот труд является попыткой установить главнейшие диалектологические группы русского языка лишь в общих чертах. Авторами подчеркивается, что Опыт Карты – не универсальный способ обследования говоров, а одно из его средств, что материал не только не исчерпан, но и недостаточен для детальной характеристики наречий, для разрешения вопросов, связанных с изучением тех или иных говоров.

Но тем не менее составители карты совершенно правильно считали, что при таких условиях уже назрела возможность и необходимость выпустить предварительную карту, что “все эти соображения могут не препятствовать обнародованию на пользу отечествоведения тех выводов и обобщений, которые уже можно сделать из имеющегося диалектологического материала” (Предисловие к “Оп(ыту) Д(иалектологической) к(арты)”, стр. 1).

Принцип определения языковых границ в этой работе в основном не противоречит принимаемому теперь: граница проводится не по отдельному языковому явлению, а по пучку изоглосс, что при избранном масштабе карты методически целесообразно.

Поставленная задача была выполнена. О тщательности работы можно судить даже теперь, через 20 лет после создания карты. Экспедиции последних лет подтверждают факты, отраженные в Карте в самых ответственных ее пунктах. При обсуждении предварительных материалов по составлению диалектологического атласа на сессии в 1941 г. в ленинградском Институте языка и мышления имени Марра академик Обнорский⁹ отмечает, что пучки изоглосс в обследованных северных районах дают контуры, установленные 30 лет назад в Опыте Диалектологической карты.

Следует указать, что Дмитрий Николаевич с успехом использовал материал Карты, участвуя в первые годы революции в работе правительственной Комиссии по национальному размежеванию РСФСР и Польши, а затем Белоруссии и Украины.

Чем дальше уходит в перспективу времени этот труд Дмитрия Николаевича, тем ярче вырисовывается его значение для развития русской филологии, его значение для национальной культуры.

I. Мы ценим этот монументальный труд Дмитрия Николаевича, воспитавший десятки диалектологов и послуживший мощной базой и импульсом для дальнейшего развития русской диалектологии.

II. Историческое значение этой работы трудно переоценить, так как она фиксирует состояние народного языка накануне первой мировой войны, перед эпохой колоссальных сдвигов социалистической революции, перед коренной культурной и бытовой перестройкой деревни.

III. Наконец. В новом свете выступает деятельность Дмитрия Николаевича как одного из организаторов громадного коллективного труда национального значения – общего дела русских ученых и сельской интеллигенции, краеведов-энтузиастов, осознававших важность изучения культурного наследия своей родины.

Современное состояние лингвистики требует создания Атласа русского языка. Этот труд предпринимается Академией Наук СССР опять при ближайшем участии Дмитрия Николаевича¹⁰.

Работа возникает параллельно в нескольких местах нашей страны, в учебных и научно-исследовательских учреждениях. Дмитрий Николаевич возглавляет диалектологический центр при И(нституте) я(зыка) и п(исьменности) Академии Наук. Под его руководством собираются кадры диалектологов, планируются экспедиции, копится новый материал, отражающий не только реликтовые явления языка, но и его новшества, вызванные социальными сдвигами в жизни современной колхозной деревни.

Одновременно Дмитрий Николаевич уточняет цель и способ Атласа, противодействует неверной мысли, внешне заманчивой, что Атлас в первую очередь должен отразить факты передового слоя говора. Дмитрий Николаевич разъясняет, что то новое, что возникает в языке колхозной деревни, не поддается картографированию и должно изучаться особым путем, так как у нас в стране нет застойных диалектных очагов, нет медвежьих углов, в которые не проникала социальная культура колхозной деревни.

Атлас в первую очередь должен сделать исторические заключения, а отсюда и вытекает методика его создания, что в дальнейшем утверждается на конференциях в институтах Академии Наук.

Лично я, представитель последнего поколения, воспитанного Дмитрием Николаевичем, особенно тесно был связан с ним по работе в последние годы, в протяжении которых всегда чувствовал теплое участие и твердое методологическое руководство своего учителя.

Мы, ученики Дмитрия Николаевича, навсегда запомнили его заветы – всецело отдаваться избранному делу, во всеоружии подходить к изучению любого вопроса, расширять свой кругозор усвоением славянских и иных языков, как новых, так и классических.

В нашей полевой работе – практике диалектологов, в самих ее приемах мы ощущаем руку нашего учителя, так как он настаивал на записи фрагментов живой, связной речи, а не формалистически разрозненных ее элементов.

Особо следует отметить популярность Дмитрия Николаевича среди сельской интеллигенции, когда его имя буквально отворяло двери перед нами, участниками экспедиции, порой утомленными большим путешествием. Нередко приходилось сталкиваться с его бывшими учениками, сельскими учителями, ставшими краеведами и практиками-диалектологами, снабжавшими нас полноценным научным материалом.

С особенной ясностью встает требование Дмитрия Николаевича – фиксировать лингвистический материал, тающий на наших глазах в условиях культурного роста деревни, по образному выражению Даля – исчезающий, как вешний снег.

А многое нами упущено. Возможно, что уже безвозвратно утрачены некоторые, еще неизученные страницы диалектологии и этнографии русского народа, растоптанные сапогом фашистских оккупантов. Фиксирование памятников языковой культуры так же неотложно, как и памятников культуры материальной.

Это призван сделать Атлас русского языка, создание которого будет памятью о нашем учителе – Дмитрии Николаевиче, отдавшем свои силы этому подлинно национальному делу.

Примечания

1. К юбилею Д.Н. Ушакова были приурочены два события: памятные чтения, проходившие 17 апреля 2003 г. в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН, и международная научная конференция (17–19 апреля 2003 г.) “Русское слово: диахронический и синхронический аспекты”, организованная Московским государственным областным педагогическим институтом (г. Орехово-Зуево) при содействии РГНФ и Министерства образования Московской области, материалы которой изданы отдельным сборником. В него вошли, кроме докладов участников конференции, не публиковавшиеся ранее статьи, заметки и письма Д.Н. Ушакова, извлеченные из фондов Архива РАН.

Популярное столичное издание “Московский журнал. История государства Российского” (2003. №№ 2 и 5) опубликовало статью об “Ушаковском словаре” и выступление известного деятеля искусства В.А. Филиппова “Д.Н. Ушаков и театр” по материалам того же заседания 1942 г.

Наконец, из последних по времени публикаций, готовящихся к изданию в настоящее время, – статья о предыстории создания и обсуждения “Ушаковского словаря” (1920–1930-е гг.) – ожидается в журнале “Русский язык в научном освещении”.

Стоит упомянуть также книгу “Словарь и культура русской речи. К 100-летию со дня рождения С.И. Ожегова” (М., 2001), где представлены эпистолярное наследие Д.Н. Ушакова, а также мемориальные статьи о нем его ученика и соратника С.И. Ожегова.

2. См.: Никитин О.В. Московская диалектологическая комиссия в воспоминаниях Д.Н. Ушакова, Н.Н. Дурново и А.М. Селищева (неизвестные страницы истории Московской лингвистической школы) // Вопросы языкознания. 2002. № 1. С. 91–102).

3. См.: Памяти Д.Н. Ушакова (к 50-летию со дня смерти) [публикация Н.Д. Архангельской и Т.Г. Винокур] // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1992. Т. 51. № 3. С. 63–81.

4. Фортунатов Филипп Федорович (1848–1914) – выдающийся русский ученый, основатель Московской лингвистической школы, академик Императорской АН, основоположник акцентологии индоевропейских языков, автор трудов по сравнительному языкознанию.

5. Шахматов Алексей Александрович (1864–1920) – выдающийся русский ученый, ученик и последователь Ф.Ф. Фортунатова, академик Императорской АН, председатель ОРИС, историк русского языка, диалектолог, славист, исследователь летописной традиции и публикатор памятников русской старины.

6. Брок Олаф (1867–1961) – крупнейший норвежский ученый-славист, ученик Ф.Ф. Фортунатова, член-корреспондент Императорской АН, специалист по фонетике славянских языков.

7. Часть названных материалов переиздана в книге: Ушаков Д.Н. Русский язык: Учеб. пособие... – М., 1995.

8. См.: Дурново Н.Н., Соколов Н.Н., Ушаков Д.Н. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии. Пг., 1915. См. также: Диалектологическая карта русского языка в Европе. Составлена членами Московской диалектологической комиссии, состоящей при Отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук, Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколовым и Д.Н. Ушаковым. Пг., 1914.

9. Обнорский С.П. (1888–1962) – академик АН СССР, крупный ученый-лингвист, специалист по истории русского языка.

10. Эта работа впоследствии была осуществлена учеником Д.Н. Ушакова Р.И. Аванесовым, коллективом его соратников и последователей при активнейшем участии вузов страны. О некоторых результатах этой деятельности см.: Орлова В.Г. Развитие русской диалектологии в советский период (1981–1959) // История русской диалектологии. М., 1961. С. 67–97.

Вступительная статья, публикация
и примечания **О.В. Никитина**



Творческое наследие
киевского митрополита
Никифора

*Г.С. БАРАНКОВА,
кандидат филологических наук*

Творческое наследие митрополита Никифора – яркая страница в истории русской письменности. Грек по происхождению, как и большинство первых митрополитов Киевской Руси, он прибыл на Русь в 1104 году и до 1121 года занимал митрополичий престол в Киеве. Сведения о его жизни весьма скупы. Его родиной была Ликия Малоазийская. Известно, что он получил прекрасное по византийским меркам образование, был хорошо знаком с богословской и философской литературой. Об этом свидетельствуют его сохранившиеся произведения. Получив назначение в далекую недавно христианизированную страну, Никифор не мог не испытывать значительных трудностей, связанных, в первую очередь, с тем, что ни язык, ни быт народа, духовным наставником которого ему предстояло стать, не были ему известны. О том, что Никифор “прииде... в Русь”, сообщается на страницах Лаврентьевской летописи под 1104 годом. Здесь его ждала напряженная работа по просвещению вверенной ему паствы и поставлению местного духовенства на церковные должности. Исторические источники свидетельствуют об участии митрополита Никифора в установлении культа и почитания первых русских святых (Феодосия Печерского, Бориса и Глеба).

Известно, что Никифор являлся митрополитом при двух великих древнерусских князьях – Святополке Изяславиче (1050–1113) и Владимире Мономахе (1053–1125). Духовным наставником Владимира

Мономаху Никифор был в течение многих лет начиная с 1113 года, когда он со всем народом приветствовал вступление Владимира на Киевский стол, и до конца своей жизни. Об особом характере их взаимоотношений свидетельствует, в частности, тот факт, что из четырех дошедших до нас произведений Никифора два обращены к Владимиру Мономаху – это “Послание Владимиру Мономаху о посте и о воздержании чувств”, а также “Послание Владимиру Мономаху о вере латинской”. Кроме того, Никифор является автором еще одного антилатинского послания, которое принято считать адресованным Ярославу Святополчичу (“Послание князю Ярославу Святополчичу о вере латинской”). В некоторых списках оно не имеет адресата, в связи с чем называется “Посланием к неизвестному князю” (его вариантом является “Послание Никифора к Ярославу Святославичу, князю Муромскому”). Кроме того, до нас дошло еще одно произведение Никифора – “Поучение в неделю сыропустную”. Таким образом, тематически сохранившиеся произведения Никифора можно разделить на две группы – это произведения, касающиеся тематики Великого поста, и антилатинские послания, в которых перечисляются вины и заблуждения латинян.

Одной из особенностей произведений Никифора является стремление непосредственно обращаться к князю, поучая или просвещая его. Таков конец “Послания Никифора Владимиру Мономаху о вере латинской”: “И прочитай же княже мои не единою, ни дважды, но множицею и ты, княже, и сынове твои. Подобае бо князем, яко от бога избраном и призваном на правоверную веру его христово словеса разумети известно и основание церковное твердо”. Наиболее ярким и интересным среди всех произведений Никифора несомненно является “Послание о посте и о воздержании чувств”. Еще Н.М. Карамзин отмечал его как образчик того, как “...древние учителя нашей Церкви беседовали с Государями, соединяя усердную хвалу с наставлением Христианским” (Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 т. М., 1991. Т. II).

Однако наиболее высокую оценку этого произведения дал митрополит Макарий (Булгаков) в “Истории русской церкви”, когда писал, что оно “лучшее сочинение митрополита Никифора и вообще одно из лучших произведений нашей древней словесности” (М., 1995. Кн. 2). Тем более досадно, что оно не получило в современной отечественной истории литературы подобающего ему места и практически осталось малоизвестным и недостаточно изученным. Вместе с тем “Поучение” Владимира Мономаха не раз привлекало внимание исследователей, но почти не рассматривалось ими в сопоставлении с “Посланием о посте” Никифора. Переключка наставлений, одно из которых написано духовным лицом – архипастырем великому князю, а другое – своего рода духовное завещание этого князя своим потомкам, безусловно,

предоставляет большие возможности для исследования христианского, политического и этического идеалов светской и духовной власти.

В своем послании Никифор освещает широкий круг богословско-философских вопросов, дает характеристику трех частей души, выделяя в ней “словесное, яростное и желанное”, и связывает происхождение грехов с той или иной ее частью. Одним из первых в древнерусской литературе он говорит о чувствах и органах чувств. Но этого мало. Никифор исследует “душевные струны” князя, с тем, чтобы оказать на него благотворное влияние, и, находя его практически безупречным, тем не менее дает ему ряд советов. Используя время Великого поста, когда, как отмечает Никифор, церковные правила предписывают говорить князьям то, что идет им на пользу, митрополит указывает, что “великие властители часто нуждаются в большом наставлении, ведь они многим пользуются, и многие изъязы имеют”. Таким образом, Никифор в своем произведении говорит о модели идеального правления и утверждает право церковного иерарха влиять на общественную жизнь.

Совсем иной характер имеет “Поучение в неделю сыропустную”. Если великому князю-христианину не было необходимости разъяснять целесообразность поста (“И много иного я мог бы сказать в похвалу поста, если бы к кому-нибудь другому было адресовано писание это”), то в поучении, адресованном относительно недавно обращенному в христианство народу, требовалось еще раз подчеркнуть важность поста и остановиться на осуждении конкретных грехов – лихоимства и пьянства. Прощение грехов невозможно без примирения с ближним, без очищения от злобы и скверны.

В научной литературе иногда отмечается наднациональный характер творчества митрополита-грека. Думается, что “Поучение в неделю сыропустную” опровергает это предположение. В его тексте говорится о грехе высоких долговых процентов (“великого реза”). По-видимому, это отклик на восстание горожан в Киеве в 1113 году, протестовавших против лихоимства ростовщиков, или на события, предшествовавшие этому волнению. В таком случае логично предположение, что это произведение было написано не позднее 1113 года. Тогда его можно рассматривать как одно из первых сочинений, созданных Никифором на русской почве, так как “Послание Владимиру Мономаху о посте и о воздержании чувств” было написано не ранее Великого поста 1114 года (см.: Полянский С.М. Религиозно-философская проблематика в “Послании о посте” митрополита Никифора // Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000), а “Послание Владимиру Мономаху о вере латинской” – в период между 1113 и 1121 годами. Время же написания “Послания Никифора князю Ярославу Святополчичу о вере латинской” пока не установлено, достоверно лишь, что оно появилось до 1118 года (см.:

Эпистолярное наследие Древней Руси XI–XIII вв. // Исследования, тексты, переводы, комментарии Н.В. Понырко. Л., 1992).

Интересно, что если в “Послании Владимиру Мономаху о посте и о воздержании чувств” Никифор обращается к князю как большому интеллектуалу, способному понять сложные философские вопросы, знатоку античности и библейской истории, то есть как равному ему самому по своим духовным запросам, то в поучении он сменяет свою тональность. Никифор предстает здесь как классический проповедник, хорошо знакомый с византийской риторикой и умело использующий ее для того, чтобы наставить свою паству в период Великого поста на путь истинный, помочь ей понять и осознать свои грехи. Он постепенно подводит своих слушателей к мысли о неизбежной победе тех, кто, “облекшись в оружие света”, выступает против козней дьявола. В поучении широко используются гармоничные речевые периоды, морфологические рифмы, метафорические образы. Постящийся, но берущий с ближнего высокий процент, уподобляется человеку, употребляющему в пищу “плоть брата” и закалывающему его “злым ножом лихоимства”, сами высокие проценты – это змеи, которые изъедают бедных. Добровольное погружение человека в пьянство определено здесь кратко и вместе с тем удивительно емко: “пьянство – волюный бес”.

Многочисленны библейские цитаты в тексте обоих великопостных произведений. Таким образом, несмотря на то, что оба послания Никифора, объединенные общей темой – поучение и наставление высшего духовного иерарха в период Великого поста – значительно различаются по содержанию, они представляют собой совершенные по форме художественные произведения.

Два других послания Никифора (“Послание Владимиру Мономаху о вере латинской” и “Послание Ярославу Святополчичу”) находятся в русле антилатинской полемики, существовавшей на Руси со времен схизмы. Первое из названных посланий включает в себя обращение к князю, по просьбе которого послание было написано, краткую историю разделения Западной и Восточной церквей и двадцать пунктов обвинений (“грехов”), выдвигаемых против латинян. В конце послания митрополит вновь обращается к князю, давая ему наказ хранить чистоту истинной христианской веры.

Второе антилатинское послание Никифора значительно шире по объему и состоит из двух частей. В начале послания Никифор также обращается к князю, который “имеет в соседях Польскую (“Лядскую”) землю”. В связи с этим обращением ученые, начиная с Макария (Булгакова), видели в адресате волынского князя Ярослава Святополчича. Первая часть представляет собой список “латинских вин”, причем их число здесь равно девятнадцати, а вторая часть посвящена вопросу о совершении Евхаристии у латинян. В первой части интерес-

но обвинение, отсутствующее в послании Владимиру Мономаху: “И говорят они [латиняне], что не подобает никаким другим языком славить Бога, кроме как тремя – еврейским языком, эллинским и римским. В этом они заблуждаются: Христос умер за всех, и пророки научают всех”. В этом замечании митрополит-грек, находящийся в русле кирилло-мефодиевских традиций, отстаивает право славян вести богослужение на родном языке. Во второй части послания латиняне осуждаются за то, что они используют в литургии опресноки и не разбавленное водой вино. В этой части Никифор часто обращается к Евангелию и апостольским посланиям Павла.

В языковом отношении антилатинские послания Никифора менее интересны, чем его великопостные сочинения, лексически они не так богаты, а стиль их значительно суше, что во многом связано с их проблематикой, ведь они по существу представляют собой сводку антилатинских отступлений. Следует отметить, что антилатинское послание Владимиру Мономаху более эмоционально, так как изредка содержит по ходу повествования обращения к князю: “Въпрашал еси был, благородный княже, како отвержены быша латина от святыхъ съборныхъ и правоверныхъ церкве” (обращение в начале послания), “...да вонми, княже мои, како о тои вещи лжут” (речь идет об искажении слов апостола Павла и причащении латинян пресным хлебом).

Творчество Никифора оставило в древнерусской книжности не только заметный след, но и породило немало загадок, на которые до сих пор не дано исчерпывающих ответов. Прежде всего, нерешенным остается вопрос, на каком языке писал он свои произведения. В научной литературе бытует мнение, что Никифор не знал древнерусского и церковнославянского языков и писал свои послания и поучение по-гречески. В этом вопросе исследователи, как правило, ссылаются на самого Никифора, прямо заявлявшего о своей “немоте” в “Почуении в неделю сыропустную”: “Но не дан ми бысть дар язычныи по божественному Павлу, яко тем языком творити ми порученная и того ради безгласен посреди вас стоя и молчу много”.

Однако не исключено и еще одно объяснение цитируемого отрывка из “Почуения в неделю сыропустную”, которое может возникнуть, если принять во внимание, что этот текст был написан не позднее 1113 года, то есть когда Никифор прожил на Русской земле уже девять лет. Это обстоятельство заставляет усомниться, стоит ли так прямолинейно понимать это высказывание. Возможно, обращение к текстам Первого Послания к коринфянам св. апостола Павла, цитируемого далее Никифором, может до некоторой степени прояснить этот вопрос: “И иных Бог поставил в Церкви во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее *иным дал силы чудодейственные*, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? все ли пророки? все ли учителя? все ли

чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? все ли говорят языками? все ли истолкователи? (I Кор. 12, 28–30), и далее: “А потому говорящий на *незнакомом языке* молись о даре истолкования” (I Кор. 14, 13). Весьма вероятно, что, говоря об отсутствии у себя “язычного дара”, Никифор подразумевал не безгласие в прямом смысле этого слова, вызванное неумением говорить на древнерусском языке, а трудности “истолкования”, неизбежные для человека, говорящего и пишущего на неродном языке. Трудно сказать, мог ли Никифор, проживший на Руси семнадцать лет, оставаться в прямом смысле этого слова “безгласным” или со временем он сам стал переводить свои произведения. Вероятнее все же, что их перевод он поручал своим помощникам, работавшим при митрополичьей кафедре. Так или иначе, но нельзя не признать высокого качества древнерусских переводов произведений Никифора.

В связи с этим возникает более общий вопрос о том, кто переводил труды первых митрополитов-греков: Леонтия (умер в 1008 г.), Ефрема (1054/1055 – ок. 1065 г.), Георгия (1062/63–1076 гг.), Иоанна II (умер в 1089 г.) и других, основным содержанием которых являлась полемика с латинянами. Учитывая длительную деятельность на Руси митрополитов-греков в XI–XII вв. и принимая во внимание, что их сочинения в большинстве случаев сохранились как на греческом языке, так и в ряде случаев в древнерусских переводах, можно с полным основанием говорить о существовании древнейшей восточнославянской переводческой школы при митрополичьей кафедре. Необходимость переводов трудов киевских митрополитов-греков, задолго до самой схизмы выступавших перед своей паствой с изложением латинских заблуждений, не подлежит сомнению. Тем более актуальным стал этот вопрос на Руси после 1054 года.

Достаточно сложной представляется проблема, связанная с объемом литературной деятельности Никифора и ее отношением к другим древнерусским сочинениям. Дело в том, что два произведения – “Стизание с латиною” и “Поучение от седми собор на латину” имеют ряд мест, совпадающих с текстами произведений Никифора.

Прежде всего, возникает вопрос, как соотносится “Послание Владимиру Мономаху о вере латинской” с “Стизанием с латиною”, приписываемым в единственном сохранившемся списке этого памятника (Российская национальная библиотека. Далее – РНБ. собр. Софийское) митрополиту Георгию, предшественнику Никифора. Дело в том, что оба эти произведения на две трети совпадают в своем тексте, причем совпадения эти дословные. Разница заключается в том, что “вины” латинян в двух памятниках перечисляются в разном порядке, а конец “Стизания с латиною” расширен по сравнению с никифоровским “Посланием Владимиру Мономаху”. Одни ученые (среди них А.Н. Попов, автор известной работы “Историко-литературный опыт древнерус-

ских полемических сочинений против латинян (XI–XIV вв.)”. М., 1875, Г. Подскальски) считали, что Никифор составил свое послание, используя уже существовавшее произведение митрополита Георгия. Другие, среди которых был А.С. Павлов, рассматривали “Стязание с латиною” как поздний компилятивный памятник, составленный на основе названного послания Никифора и “Слова о вере крестьянской и латыньской Феодосия Печерского” (Павлов А. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян”. СПб., 1878).

Практически не выяснено соотношение текстов “Послания Ярославу Святополчичу” и “Поучения от седми собор на латину”, произведения, составленного из двух памятников – “Послания митрополита Иоанна II к папе Клименту об опресноках” и названного выше послания Никифора. Примечательно, что сохранившиеся списки этого поучения, относящиеся к XV веку, старше, чем дошедшие до нас списки послания Никифора, датируемые XVI–XVII веками.

Кроме того, ни текстологически, ни лингвистически не изучено и само это послание Никифора. Между тем, с ним тоже связано немало загадок. Во-первых, до конца не ясно, кому оно было адресовано. Единственный его список, в котором, по мнению ученых, был правильно указан адресат – Ярослав Святополчич, княживший в Волынском княжестве, соседствовавшем с “Лядской землей”, находился в собственности уже упоминавшегося ученого и собирателя древних рукописей А.Н. Попова. В настоящее время этот список считается утраченным, в связи с чем провести его сопоставительное изучение с другими списками этого памятника невозможно.

Проведенная нами текстологическая классификация выявленных списков привела к выделению трех редакций этого послания Никифора. Первая редакция представлена единственным списком XVII века (РНБ. Собр. Погодина), вторая редакция – также одним, но более ранним списком (XVI века. Российская государственная библиотека. Далее – РГБ. Собр. Румянцева). Он является дефектным, так как содержит ряд пропусков. В текстах обеих редакций адресат не указан. Наконец, существует третья редакция послания, которая была включена митрополитом Макарием в Великие Минеи Четии (ВМЧ). Это два списка ВМЧ XVI века – Царский и Успенский (Государственный исторический музей. Далее – ГИМ. Собр. Синодальное), имеющие мало отличий между собой, и один список из сборника смешанного содержания (РНБ, ОСПК Q. 213 Б), XVII века, также идентичный названным. Послание ошибочно обращено в этих списках к “Ярославу Святославичу князю Муромскому” (вариант “Мурьскому”). Третья редакция представляет собой своеобразную компиляцию, так как содержит вставки из антилатинского послания Никифора Владимиру Мономаху.

Следует отметить, что два других произведения Никифора – “Послание Владимиру Мономаху о посте и о воздержании чувств” и “Послание Владимиру Мономаху о вере латинской” также были включены Макарием в свод ВМЧ, хотя они и не попали в один том с “Посланием Ярославу князю Муромскому”. Эта разница в подаче произведений Никифора наблюдается и в других древнерусских сборниках, из которых сотрудники Макария брали сочинения Никифора. На настоящий момент не известно ни одного рукописного сборника, где бы произведения Никифора были собраны вместе. Обычно послания Владимиру Мономаху выступают в паре, тогда как “Послание Ярославу Святополчичу”, при всей своей близости по содержанию к “Посланию Владимиру Мономаху о вере латинской”, никогда не соседствует с ним.

Не ясна причина, по которой произведения Никифора сохранились в относительно небольшом числе списков. Так, например, послания, адресованные Владимиру Мономаху известны всего в семи списках, “Послание Ярославу Святополчичу”, представленное во всех трех редакциях, насчитывает всего пять списков (не считая утраченного списка из собрания А.Н. Попова), а “Поучение в неделю сыропустную” – только два. При этом разночтения по спискам посланий Владимиру Мономаху незначительны, что позволяет считать текст этих списков аутентичным авторскому. Зато тексты трех редакций “Послания Ярославу Святополчичу” значительно отличаются между собой.

Остается еще один нерешенный вопрос – были ли переведены произведения Никифора одним лицом (если исходить из предположения, что он писал по-гречески), или на древнерусский язык их переводили разные лица. При ответе на этот вопрос следует учитывать лексические расхождения в обозначении ряда понятий в антилатинских посланиях митрополита Никифора. Наконец, до конца не решен вопрос о византийских источниках его произведений. Подводя итоги сказанному, следует отметить значительный интерес и важность лингвистического изучения произведений киевского митрополита-грека Никифора для истории русского языка и литературы.



Из истории политического лексикона XX века**Господа, граждане и товарищи
в эмигрантской публицистике**

А. В. ЗЕЛЕНИН,
кандидат филологических наук

До революций 1917 года (буржуазно-демократической и социалистической) в русском языке не удалось создать нейтральных обозначений для наименования человека *как члена общества* или обращения к нему, независимо от его имущественного положения. Смена общественного строя в 1917 году вызвала изменения в структуре и типах обращений в русском языке – так, *господин (госпожа)* были признаны “эксплуататорскими”, обижающими достоинство человека, и поэтому активно вытеснялись на периферию языковой системы, сохранившись только в узкой и специализированной сфере дипломатии. Слово *сударь (сударыня)* также не было использовано в качестве обращения (мешали “отголоски” этимологического значения “государь”). По какому же пути пошли социал-демократы, революционеры, жаждавшие коренной перемены российского государственного устройства? В отличие от до-революционной системы обращений, основанной на социально-имущественном неравенстве, иерархичности, большевикам нужно было искать новые критерии. Они были найдены: это или партийно-групповое обращение *товарищ*, или историко-революционное *гражданин*; провозглашенное французской буржуазной революцией еще 1789 году и призванное отразить равенство всех трудящихся членов общества.

В XIX веке в России *товарищ* значил “дружку, сверстника, ровню, однолетка, помощника или сотрудника” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. IV). Семантический диапазон этого слова был довольно широк, передавая идею близости людей (психологической, возрастной, профессионально-производственной). Не в общем языке, а именно в революционном групповом лексиконе слово *товарищ* приобрело суженное значение и специализированную функцию. По всей вероятности, это произошло под са-

мым непосредственным влиянием европейских языков: немецкое *Genosse*, французское *camarade*, английское *comrade*; без привлечения их семантической структуры при анализе русского *товарищ* едва ли можно обойтись. Рождение нового, “революционного”, значения в европейских языках произошло практически одновременно. Длительные и интенсивные контакты подпольных и полуподпольных революционных групп в России с зарубежными единомышленниками не могли не сказаться на речевом обиходе российских революционеров.

Во французском языке *camarade* известно с XVI века, придя из испанского военного языка (*camarada* первоначально “комната для солдат”, затем – “сослуживец”); спустя некоторое время во французском оно приобрело значения “напарник в работе, занятиях”, “тот, с кем приятно проводить время”. Рождение “политического” значения во французском языке у этого слова датируется 1869 годом – “обращение, используемое членами левых, крайне левых партий и синдикатов (профессиональных союзов)”.

В немецком языке *Genosse* вплоть до начала XIX века значило “спутник”, “единомышленник”, “тот, кто обладает такими же имущественными правами, находится в том же состоянии”. В 1879 году (впервые – в работах социалиста Ф. Меринга) у слова появляется значение “обращение в социал-демократической рабочей партии как выражение общих убеждений в борьбе за осуществление целей социализма и коммунизма”; его словообразовательными вариантами были *Volksgenosse* (буквально – “товарищ из народа, народный сподвижник”) и *Parteigenosse* (буквально – “товарищ по партии”). Слово *Genosse* сменило первоначально употреблявшееся слово *Bruder* “брат”. Замена одного термина другим была призвана обозначить связь людей уже не по крови и личному побратимству, а по общей цели и идее, общей партийной программе, общему мировоззрению. В 20–30-е годы XX века слово *Genosse* стало обращением и партийно-этикетным знаком в гитлеровской идеологии национал-социализма.

В английском языке слово *comrade* известно с XVI века и представляет фонетико-орфографический гибрид французского *camarade* и испанского *camarada*. Впервые значение “обращение у социалистов и коммунистов, аналогичное *мистер* (Mr)” отмечается в 1884 году.

Европейские параллели русского обращения *товарищ* помогают нам увидеть его на более широком семантическом фоне. Проникновение заимствованных семантических компонентов в русское слово *товарищ* началось в среде революционеров, которые – по примеру западноевропейцев – стали использовать его в суженном значении “единомышленник по партии, партийным взглядам”. По западноевропейской модели, принятой в социал-демократических и революционных кругах, российские социалисты и коммунисты стали называть себя так: *товарищ + фамилия*. Русское студенчество, всегда восприимчивое ко вся-

кого рода новшествах или (полу)запрещенным вещам, с некоторой долей бравады подхватило эту речевую особенность партийного жаргона революционеров (Селищев А.М. Язык революционной эпохи. М., 1928).

Пропаганде данного обращения служили и выступления социал-демократов, большевиков в Государственной Думе и на заседаниях фракций, а также публикации отчетов в газетах (1906–1917 гг.). Так что к 1917 году обращение *товарищ* уже прочно ассоциировалось с социал-демократами, революционерами (анархистами, эсерами, большевиками, меньшевиками) и рабочими как их наиболее решительными и радикальными сторонниками; использование данного слова в среде интеллигентов и студентов следует рассматривать не более, чем языковую игру. Неслучайно опубликованное 9(22) октября 1917 года в газете “Известия” обращение-призыв к рабочим начиналось с характерного и важного партийного этикетного термина: “Ко всем *товарищам* рабочим России” (для контраста – ко всему населению Петрограда обычно обращались словом *граждане*; это ясно показывало различие и степень “приближенности” человека или группы людей к существующей власти и господствующей идеологии). Это этикетное новшество революционного времени сразу бросилось в глаза иностранцам; Рассел в книге “Раскованная Россия” (Unchained Russia. 1918), вышедшей по свежим следам совершившейся революции, приводил фрагмент реплики проводника в поезде, обращенной к кому-то из пассажиров, и давал свои комментарии: «“Нет, *товарищ*, нет! Нет”. Это чтобы сказать *comrade*. После революции каждый в России был “*товарищ*” (*tavarisch*)».

Пожалуй, наиболее пронзительную и эмоционально-напряженную характеристику слова и изменение его прагматики на протяжении чрезвычайно короткого промежутка времени – только полугода (с Февральской буржуазной революции до Октябрьской социалистической) – дал Н.В. Устрялов: «После революции слово “товарищ”, вошло, как известно, у нас в государственный, общественный и даже частный обиход»; «“Гражданин” – символ демократической государственности...»; «Государство граждан – высший тип государства»; «Революционная демократия наша решила “углубить” русскую революцию: И углубила “гражданина” до “товарища”»; “Товарищ – категория не правовая, а чисто моральная”; «Мы отказались от звания “гражданин”, чтобы стать “товарищами”»; “Мы стояли внизу, на низшей ступеньке. Мы были подданными, рабами. Мы захотели стать не гражданами свободного государства, а сразу *товарищами*... И в результате остались рабами” (Устрялов Н.В. “Товарищ” и “гражданин” // Народоуправство. 1917. № 12).

Принятый в 1919 году “Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов” еще более усилил роль слова *товарищ* в начавшей складываться новой системе советских обращений вместо старой, рас-

павшейся. Официальными армейскими обращениями стали *товарищ красноармеец, товарищ командир полка* и т.д.; в дискурсе того времени это звучало как “военный защитник социалистических интересов, идеалов”.

Слово *товарищ* впервые было закреплено как общесоветское, а не только партийное или военное обращение в конституции 1936 года (так называемой “сталинской”), именно в 30-е годы слово приобрело новую языковую (социально-обусловленную) функцию и прагматику – как официальное обращение к *советскому человеку*, представителю социалистической общественной формации.

История слова и обращения *гражданин (гражданка)* сложна и порой даже трагична. Старое этимологическое значение “житель города” с начала XVIII века дополнилось значением “житель государства” (напр., у П. Шафирова в 1717 г.: *граждане российские*). В Петровскую эпоху *гражданин* уже значит “член общества”. После французской буржуазной революции 1789 года в русском языке были попытки, по французскому образцу, использования слова *гражданин* как обращения в некоторых группах, разделяющих республиканские идеи; однако уже в 1797 и 1800 годах употребление данного слова было запрещено царскими указами; вместо него было “предписано” использовать *житель, обыватель*. Вплоть до начала XX века слово *гражданин* понималось довольно узко – “человек, обладающий политическими правами”. После февральской буржуазной, а затем социалистической революции 1917 года слово *гражданин* было активизировано сначала в социал-демократических, а вслед за ними и социалистических (коммунистических) газетах.

Широкое использование слова *гражданин (гражданка)* после революций 1917 года призвано было подчеркнуть общественное равноправие всех жителей в новой (сначала буржуазно-демократической, а затем социалистической) стране, освободившейся от монархии. Таким образом, слово *гражданин* в тех условиях имело мощную коннотацию “житель свободной, демократической страны” (в смысловой оппозиции *несвободному человеку в монархическом государстве*). Кроме того, исторические ассоциации были сильны – это апелляция к *гражданской совести человека и ответственности* его перед законом (который, однако, в тот беспокойный период на время был “отложен” и понимался чаще всего как “революционная справедливость”). *Гражданин (гражданка)* широко употреблялись сначала как противовес прежним, царским обращениям, а затем просто как нейтральные; в 30-е годы они все более сосредоточивались в судопроизводственной и административно-уголовной сфере, где эти смысловые компоненты значения (“совесть”, “ответственность”, “закон”) оказались востребованными в максимальной степени, отвечая как историческому “французскому” прошлому, так и новой, советской, действительности.

Этот краткий очерк сложения системы послереволюционных обращений позволяет четче, рельефнее расставить акценты в новых, советских, обращениях и увидеть то, что сохранили эмигранты в своем языковом багаже и как они реагировали на это новое, советское. Языковая картина использования обращений у эмигрантов отличается от советской в значительной степени. Обусловлено это было в первую очередь обилием политических партий и группировок, зачастую сохранявших старую систему социальных, политических ценностей и способов этикета.

Начнем с собственно обращений. Эмигрантская публицистика лишь косвенным образом может характеризовать функционирование обращений в языке, поскольку данная категория вообще – факт устного языка; в письменных сферах обращения чаще всего встречаются либо в художественной литературе (отражающей и воспроизводящей речь устную), либо в интервью и диалогах, либо в особой риторической форме речи. Первый тип не является предметом нашего рассмотрения; второй тип обычно представлен либо как “чистое” интервью (что в мировой прессе первой половины XX века не было так распространено, как сейчас), либо как пересказ, передача интервью журналистом (что намного чаще); третий тип очень частотен в нашем материале (это понятно, если учитывать особую, повышенную экспрессивность и порой даже аффектированность некоторых эмигрантских изданий). Таким образом, обращения в нашем материале сосредоточились в двух основных зонах: пересказе интервью какого-либо лица или риторических выражениях.

Из данных трех обращений наиболее частотным является *господин*, что объясняется большим удельным весом монархических, промонархических или буржуазно-демократических изданий, чем, например, анархических и прокоммунистических. Если слово *господин* в устной коммуникации в некоторых группах эмигрантов могло звучать в качестве обращения вполне нейтрально, то в публицистике (в силу специфики жанра и стиля данного типа текста), оно приобретало дополнительные прагматические компоненты. Так, встречается *холодно-оскорбительная* окраска – обычно по отношению к конкретному лицу или группе лиц: “Вы, Г. Солоневич, сожгли за собой все корабли” (Русский голос. 1939. 19 февр.); “Берегитесь же, *господа* Комиссары!” (Русская правда. 1925. Сент.-окт.). Отмечен и *иронично-презрительный* оттенок слова *господин* обычно по отношению к некоему собирательному образу или группе людей, когда они характеризуются не прямо, а перифрастически, косвенно: “...вы, *господа* творцы революции, действовали со злым умыслом” (Призыв. 1920. 13 марта); “*Господа* освободители! Не смейте отнекиваться и ссылаться на то, что акты произвола и насилия грубой толпы иногда бывают неотвратимы” (Там же. 1920. 4 дек.); «*Господа* меднолобые “борцы за освобождение

России"! Бросьте ваши негодующие возгласы по адресу большевиков, не будьте лицемерами...» (Там же. 1920. 4 дек.).

Такой разброс в использовании слова *господин* (*господа*) свидетельствует об одном – преобладании оценочности в семантике слова над номинативным содержанием.

Эмигранты пристально следили за новшествами в советском этикете и не могли не заметить активного искоренения и вытеснения слова *господин* из советского речевого обихода: «Никак, например, не могут отучить коммунисты учителей и профессоров обращаться к слушателю со словом “*господа*”. И стоит вопрос: гнать из-за этого слова преподавателей или нет. Гнать, пожалуй, ни с чем останешься, так въелось это слово, семь лет не могут отучить. Применить новый метод: продернуть в стенгазете» (Дни. 1925. 30 янв.).

В отличие от *господина* (*госпожи*), слово *гражданин* русскими эмигрантами используется реже, причем у него отмечаются интересные особенности. Нами не зафиксировано ни одного случая использования его как обращения. Все примеры находятся в зоне номинативного значения. Большая часть таких употреблений является “заимствованием” из советского языка, выступая в качестве характерного и показательного элемента новой социально-политической действительности: “В лагеря попадают все *граждане* не только явные, но и подозреваемые ГПУ, как политические, так и экономические враги народа и классовые враги” (Голос России. 1932. Июль); «... каждый советский *гражданин*... завален “общественной” работой» (там же); “8 марта к *гражданке* Альманк на Бабьегорском рынке в Москве подошли двое неизвестных и предложили ей купить 70 долларов” (Возрождение. 1935. 14 марта) и т.д. Не менее интересным является смысловое противопоставление понятий “гражданин” ↔ “член РСДРП(б)”; это находится в одном семантико-прагматическом русле с уже упоминавшимся противопоставлением понятий “товарищ” и “гражданин” в первые дни советской власти, например: “...приближение [Термидора] ощущается в России страшным усилением слежки и всякого рода шпионажа за гражданами и внутри партии” (За свободу. 1925. 1 янв.).

Другое характерное явление – это стремление возродить, восстановить начальный смысл понятия “гражданин” в противовес советскому, коммунистическому, узурпированному (как считали, например, социал-демократы и либералы) большевиками. На помощь в этом случае приходят французский и английский языки, в которых это понятие было развито и реализовано наиболее полно. Сохраняется значение – “подданный, житель данной страны”: “Американцы могут сердиться, если рынки уходят из рук, но трудно верится в то, чтобы американские *граждане* охотно умирали за эти рынки” (Голос России. 1932. Сент.–окт.). Актуализируется и становится особенно весомым, политически наполненным значение “полноправный член

демократического общества, обладающий всеми правами и свободами”: “Нужно... русское – пребывающее в цепях рабства – общественное мнение уравнивать в правах с любым иностранным властным голосом свободных *граждан!* а не рабов” (Дни. 1925. 13 февр.). Это значение почти всегда реализовывалось в контексте с упоминанием советской жизни и выступало как смысловой и прагматический оппозиит понятие “советский гражданин” (с сильной коннотацией “рабский, несвободный, лишенный прав”).

Слово *товарищ* активно использовалось эмигрантами, однако нами не отмечено примеров, где оно выступает как обращение. Анархисты сохранили в своих газетах стиль именования своих единомышленников словом *товарищ*, что свидетельствует о сохранении в их языке сильной *классово-политической* маркировки данного слова, прежде свойственной всему революционному, вообще “левому” движению: “Весной 1919 г. *т. Аршинов* был председателем культурно-просветительского отдела армии повстанцев-махновцев...” (Анархич. Вестник. 1923. № 1); “*Товарищ И. Карташев* впервые вошел в [махновское] движение в ноябре 1920 г.” (Анархич. Вестник. 1923. № 2) и т.д. Всех других анархисты *товарищами* не считали.

У многих эмигрантов постоянно всплывает в памяти период, когда в общем языке (а не только партийно-групповом жаргоне дореволюционных “левых” течений) произошла активизация слова *товарищ*, связано это, по их мнению, с февральской революцией 1917 года и Временным правительством А.Ф. Керенского: «...люди, одетые в мундиры бывших доблестных русских воинов, но волей, стараниями “освободителей” [о министрах в правительстве Керенского. – А.З.] превращенные в “сознательных *товарищей*”, “спасающих революцию”, придумали новый способ развлечения... они стали... мочиться на лицо [Штюмера]» (Призыв. 1919. 4 дек.) и др.

Старое значение слова *товарищ* “помощник какого-либо должностного лица” (напр.: *товарищ министра, председателя*) употребляется редко. Использование его в воспоминаниях вполне понятно как желание воскресить прошлое. Однако это значение “переносится” и на заграничную жизнь в те группы и объединения эмигрантов, которые сохраняли прежние социальные устои и обычаи или пытались давать привычные номинации заграничным реалиям: “Закрытой баллотировкой избрано правление...: С.И. Янченко (председатель), А.Э. Вюрглер (*товарищ* председателя)” (Дни. 1925. 31 янв.); “Затем *товарищ* городской головы [Риги] Садовский оглашает мнение городской управы...” (Сегодня. 1930. 4 янв.).

В большинстве эмигрантских изданий (обычно монархического или промонархического толка) слово *товарищ* оказывается пронизанным, “пропитанным” советским духом, так что его оценочность и коннотации часто “побеждают” номинативное значение. Слово *това-*

риц “вращается” в одном смысловом поле с понятиями “советский”, “красный”, “большевистский” с однозначно негативной коннотацией: «В одном из жестоких боев... поручик Иван Тимофеев... попал в плен. Там его “товарищи” сразу не “ликвидировали”, а ... отправили на хутор к комиссару» (Русский голос. 1939. 5 марта); «Борющиеся [казаки] не сомневаются в обреченности Советской власти: “Голоштанники коммунисты с голоду подохнут ... сперва хлеб себе, потом свинье, что останется – *товарищам*”» (Голос России. 1933. Янв.–февр.–март) и т.д.

Впрочем, новая советская этикетная система находила отражение в эмигрантских изданиях, в некоторых контекстах (дипломатия, техника) слово *товарищ* используется как знак (своего рода “визитная карточка”) представителя советского строя, советской экономики, дипломатии: “Уже несколько дней пребывает в Берлине именитый советский гость – *тов.* Жуков, председатель объединенных электротехнических концернов СССР” (Руль. 1930. 25 марта); “В долг, как ни распинается *товарищ* Красин, ... не дают ни гроша” (Русская правда. 1925. Сент.–окт.). “*Товарищ* О. Каменева... выслана заранее в Париж... на случай назначения ее на пост полпреда” (Дни. 1926. 16 нояб.) и т.д.

Таким образом, слово *товарищ* жило в эмигрантской публицистике довольно активной языковой жизнью. Иноязычного влияния, в отличие от слов *господин* и *гражданин*, нами не отмечено. Анархисты продолжают употребление его в узком партийном значении; другие газеты используют его либо как “слово-эхо”, либо как знак, метку большевика (обычно комиссара, представителя партии, советской промышленности). В эмигрантской публицистике даже 30-х годов нам не встретилось нейтрального употребления слова *товарищ* применительно к советскому человеку вообще, когда это уже стало нормой в советском этикете. Эмигранты продолжали считать *товарищ* партийно-большевистским обращением, не выводя его за эти пределы и не рассматривая его как общесоветскую нейтральную этикетную формулу.

Санкт-Петербург



Фольклорные образы в сценической народной хореографии

*В. М. ЗАХАРОВ,
доктор искусствоведения*

В 1988 г. был создан Московский государственный театр танца “Гжель”, его задачей стало сценическое воплощение фольклорных материалов, собранных в многочисленных экспедициях по разным регионам России. На их основе создаются танцевальные сцены, хореографические картины, композиции, жанровые миниатюры.

Стихийные ритуальные хороводы можно отнести к наиболее ранней стадии развития русской народной хореографической культуры; игровые хороводы, скоморошья забавы, пляски – к более поздней. Существует целый ряд плясовых присловий, шуток, поговорок, имеющих непосредственное отношение к народной хореографии, т.к. они прямо определяют форму коленцев народной пляски: “толочься на месте”, “перебирать пальцами”, “извиваться ужом”:

Я точу, молочу
На чужом гумне.
Ко мне курочка пришла,
Куропаточка пришла.
Я девушку нагоню,
Я красную нагоню,
За себя ее возьму.

Явление психологического параллелизма, основанного на сопоставлении образов природы с миром чувств человека, лежит в основе хореографической постановки “Тонкая рябина”.

Оживают обобщенные образы-символы, восходящие к русскому фольклору. Рябина всегда была олицетворением женственности; тонкая рябина рождает впечатление хрупкого, незащищенного создания. Ветры жизни качают ее, могут сломать. Она инстинктивно тянется к большому и сильному дубу. Это дерево – как воплощение могучих сил; он один, этот дуб – символ мужественности и надежности – сможет защитить тонкую рябину, укрыть от житейских бурь. Вместе они преодолеют одиночество... Но душевное сиротство и вековечное одиночество так часто являются уделом русской женщины: “Видно, сиротине век одной качаться...”. Тончайший психологический параллелизм определяет рисунок этой хореографической новеллы, передающей строй души русской женщины.

А теперь обратимся к хореографической зарисовке “Палех”. В ней словно оживают темы былин, народных сказок, раскрываются сюжеты, связанные с русскими обрядами далекой допетровской Руси. Здесь царит обстановка царских и боярских палат: парча, бархат, меха, драгоценные камни, но воссоздана она в стиле миниатюр Палеха, художественного промысла, центрами которого были также сёла Мстёра и Холуй.

В хореографической новелле “Палех” средствами танца как бы устанавливается живая связь времен, оживает сама история, мы ощущаем ее красочность и былинность. Оживают фольклорные образы: сказочный царевич и царевна, бояре и боярыни, стольники, простой люд.

В “Палехе” царевич и царевна – это художник и его возлюбленная. Автор-художник (царевич) показывает возлюбленной родную землю, ее богатства, раздольную песенную красу. Возникают в танце образы-символы: Озеро, Поля, Леса; Русская Песня. Они окутаны Тайной преобразования быта в Бытие. На сцене клубится легкий дым, как сон, воображение. Это и помогает художнику как бы навести зеркало и в нем своим внутренним взором увидеть прекрасную природу Родины, любящих ее людей.

В основе хореографической композиции “Костромская скань” – тоже развернутая метафора, целая система поэтических символов. Творческий труд мастеров-ювелиров, зажигающих искрами своих сердец тот огонь, где плавится металл, чтобы стать драгоценным узором-орнаментом и превратиться в короны-кокошники, переливаться на рукавах и лентах, украшающих девушек, – все это воплощается в танцевальных образах, хореографическом рисунке. Мастера мелькают между девушками-танцовщицами, оживляя узоры взмахами огненных платков – символами языков пламени. Хоровод-змейка не прерыв-

вается, движения плавно и изящно переходят одно в другое, как узорчатое металлическое кружево скани. И с каждым поворотом, завихрением открывается, оживает новый узор – символ вечно живо-го и прекрасного искусства народных умельцев.

При создании хореографической композиции “Хохломская карусель”, знакомящей зрителей с замечательными хохломскими народными промыслами, мы пришли к мысли – использовать яркую цветовую гамму (сочетание красного, золотого, черного), вызывающую ассоциации с народным праздником, ярмаркой, неудержимым весельем, радостью. Через образ карусели удалось раскрыть и само содержание танца: круг как символ жизни, вечности; разновидности кругов – двойные, тройные, концентрические, полукруги, общие круги, круги по парам; диагонали, змейки, простые линии, звездочки, воротца. Здесь представлены композиционные элементы русских хороводов в усложненном варианте. Круг – живая карусель из исполнителей, – начинающая двигаться в медленном темпе, постепенно переходит в настоящий вихрь движений; их сменяет степенность танца девушек-красавиц и добрых молодцев; и вновь головокружительный танец. В карусели – круге жизни, вечности – предстает весь мир и жизнь человека.

От создания танцевальных картинок, хореографических композиций, миниатюр (“Я на горку шла”, “Выйду ль я на реченьку”, “Красный сарафан”, “Камаринская”) мы пришли к созданию нового жанра – “танец-песня”. С введением в хореографическую практику этого понятия (“танец-песня”) стало возможным в полной мере осознать органическое соединение в нем и танца и песни, сплава образов и мотивов, где акцент сделан все-таки на хореографии.

В театре танца “Гжель” танец-песня живет яркой, полнокровной жизнью, как, например, в вокально-хореографической картинке “Вниз по Волге-реке”, созданной с использованием мотивов “мужской раздольной пляски”. Таким же ярким примером раскрытия специфики нового жанра может послужить лирический танец “Зеленая трава”, в котором патриотическая идея раскрыта через непрерывную, перетекающую из эпизода в эпизод полисюжетность – единую в своей многогранности.

Известно, что песня поется, но ее содержание, смысл, образную семантику выражают не только слова, но и мелодия, ритм. Во время исполнения народных песен воедино сливаются текст, мелодия, словесно-ритмические и музыкально-ритмические элементы, а также элементы декоративно-прикладного народного искусства.

Все это воплощает в себе созданный нами новый жанр – хореографическая баллада. В ранних своих формах баллада исполнялась под музыку и сопровождалась танцем. Считается, что первоначально в XII–XIII веках балладой называли танцевальную песню; точнее, она обозначала весеннюю хороводную песню любовного содержания. В

славянском регионе она имела тоническое стихосложение, как песня героического эпоса. В России баллады назывались “бабьи старины”, в польско-украинском регионе – “думки”. Мы рассматриваем балладу как лирико-драматический жанр. Баллада эволюционировала от эпической формы к лирической: так, если героем первой был богатырь, воин, то во второй форме утверждался идеал девушки-полонянки. Опираясь на лиризацию народной баллады, мы создали жанр хореографической баллады, примером которой может послужить “Ярославна”. В этой балладе героиня словно раздваивается, создавая два хореографическо-драматических образа: княгини и птицы – “зигзицы”. Средствами пластического языка она передает боль, скорбь, тоску всех русских женщин, потерявших своих близких, и ее горестный плач становится плачем всей Русской земли...

Символическое расширение текста, использование аллегорических персонажей и фигур свойственно и казачьим балладам. В качестве примера можно назвать “Праздник в казачьей станице” из репертуара ансамбля песни и танца “Искорка” колхоза “Искра” Котельнического района Кировской области (художественный руководитель и главный хормейстер – Народная артистка СССР, солистка хора им. Пятницкого А.В. Прокошина, хореограф – В.М. Захаров). Автор не гнался за сложностью элементов, он хотел воссоздать атмосферу казачьего народного праздника, показать особую стать казаков, горделивую осанку казачек, спокойную уверенность жестов, характерные пристукивания каблуками.

При создании “Праздника в казачьей станице” мы постоянно обращались к наследию М. Шолохова, который по-настоящему знал и любил донской фольклор. Манера поведения донских казаков отразилась в танце – движения с саблями, прыжками, коленцами. Чувство личного достоинства, гордость, строгая простота, удаль – все это присуще донским казакам.

При создании казачьих баллад учитывались народные обычаи, промыслы. Мастера бережно хранят традиции казачьего края. В их изделиях как бы застыли ажурные кружева, столь любимые в казачьих станицах. На них – растительные орнаменты, цветная роспись. Это сразу вызывает ассоциации с живописной, яркой национальной одеждой уроженцев Донского края. Студенты и преподаватели факультета хореографии Государственной академии славянской культуры создали хореографическую балладу “Казачьи игры”, которая достойно представляет казачий Дон во всех уголках мира.

Наряду с жанром баллады интересно сопоставить былину как фольклорную эпическую песню, в центре которой какой-либо примечательный эпизод древней русской истории, и былину в хореографической интерпретации.

Историческая память народа хранила все то, что представлялось ему особенно важным. Былины отразили многие исторические ре-

лии, они многослойны и донесли до наших дней деяния реально существовавших лиц. Например, в хореографической былине об Илье Муромце звучит хор (речитатив), сопровождающийся колокольным звоном: “Как со славного города со Мурома, с того ли села Карачаева, как снаряжается да собирается добрый молодец старый казак Илья Муромец. Не в дальнюю дороженьку, не в ближнюю – но к славному ко городу ко Киеву...”

Танцевальная женская группа олицетворяет образы сказителей. Движения их неторопливы и торжественны, и в своих перестроениях и переходах они передают достоинство, спокойную былинную величавость и эпичность образов. Особый колорит и значимость произведению придает характер традиционных величальных хороводов. Главный герой – Илья Муромец – символ защитника Русской земли. Женская танцевальная группа олицетворяет народ, передающий из уст в уста, из века в век память о былинном герое.

В хореографии этого произведения используются те же художественные приемы, которые свойственны былине как жанру фольклора: гипербола (“Махнул Илья направо палицей – улица, налево – переулочек”); антитеза (девушки, приближаясь к “горизонту” – заднику сцены, видят воображаемых врагов и отступают назад), утроение (троекратное повторение движений: главная характерная фигура хоровода – поочередные тройные повороты каждой девушки); ретардации (выражаются в намеренном замедлении движений, особенно в эпизоде борьбы с врагом); синекдоха (группа, состоящая из 24 девушек, символизирует весь народ); анафора (каждая новая фигура начинается с повторения одного и того же движения); аллитерации и ассонансы проявляются в речитативе сказителей, в звучании гуслей и колокольного звона; былинная типизация и индивидуализация характеров: девушки – образцы-типы древних сказителей и русского народа; Илья Муромец – воплощение спокойной и уверенной в себе силы воина-защитника.

Наша работа и новации в русском танце убеждают в том, что и былинный эпос всегда был, есть и будет источником вдохновения для хореографов.



Лекарь Ерофеич и зверобой – целитель ран

С. В. РЯБУШКИНА,
кандидат филологических наук

В № 2 за 2002 год была опубликована статья В.Г. Долгушева “Анисовка и Ерофеич (Об одном этимологическом мифе)”, в которой автор связывает название крепкой настойки *ерофеич* не с именем составителя рецептуры (*Ерофеичем*), а с названием растения (*ерофеем*). Приведенные в этом материале сведения можно уточнить и дополнить.

В конце XVIII–XIX веков одна из разновидностей “водок” (то есть настоек на пряных, ароматных травах) называлась *ерофеич*. Как отмечали А. Преображенский и – вслед за ним – М. Фасмер, она получила название по имени изобретателя, московского целовальника (т.е. виноторговца. – С.Р.) Василия Ерофеича в начале XIX века или по имени цирюльника Ерофеича, вылечившего настойкой графа Алексея Орлова около 1768 года (Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. М., 1910–1914. Т. I; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. II). Это версия XX века. Словарь русского языка XVIII века иллюстрирует толкование словами Болотова: «〈Лекарь Василий Ерофеич〉 оставил по себе ту славу, что и поныне все государство пьет травник, составленный с его травами и называемый “Ерофеичем”» (Словарь русского языка XVIII в. Л., 1991. Вып. 7). А это уже свидетельство современника, причем – человека особенного.

Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) был выдающимся исследователем в области естествознания, его считают основателем русской сельскохозяйственной науки и первым русским физиотерапевтом и гомеопатом. А также – что вполне в духе просвещенной екатерининской эпохи – это философ, переводчик, литературный критик и писатель-мемуарист с удивительно легким и ярким, образным слогом.

Откроем автобиографические записки “Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков”: “Около сего времени все наше государство гремело славой и занималось разговорами о появившемся в Петербурге русском лекаре Ерофеевиче, вылечивающем всех с преудивительным успехом, так что возмечтали об нем уже и Бог знает что и почитали его уже сущим эскулапом {...} Словом, врач сей обожаем был почти всеми и составлял около сего времени феномен необыкновенный, и потому не за излишнее почел я

поместить здесь некоторое ближайшее о нем известие и анекдоты, слышанные мною от очевидцев (...) и сделать сие для того, что легко статься может, что иных известий об нем не останется нигде [вот она, цель повествования! – С.Р.]” (М., 1993. Т. 2). Далее Болотов передал рассказ своего соседа, г-на Соимонова, вылеченного Василием Ерофеичем, и еще ряд свидетельств, в том числе и об исцелении графа Орлова, за которое г-н Ерофеич – человек низкого, “подлого” происхождения, бывший рекрут – был пожалован чином титулярного советника. Сибиряк, родом из Иркутска, зашел он в Китай с караваном и остался там на некоторое время “учиться лекарскому искусству и был фельдшером”; врачевал же он “все ботаническими лекарствами: и капли, и порошки, и мази все у него из трав, и все сам делает, а травы рвут бабы около Петербурга, и он говорит, что их везде много” (Там же). Подытоживая сказанное, Болотов говорил о том самом целебном настое, названном в честь создателя.

Имя *Ерофеич* показательно. Отчество на *-(в)ич* в конце XVIII века было нехарактерно для простых людей (у них не было и фамилий), его получали только представители высшего сословия: дворяне, чиновники с 1 по 8-й классы. Чиновник 9-го класса, титулярный советник (“Ваше Благородие” – не “Ваше Высокоблагородие”!), да еще выходец из низов, вроде бы такого права не имел, но уж очень любили чудо-лекаря, что и проявилось в этом почтительном обращении – “господин Ерофеич”. Иронии и снисхождения здесь, конечно, нет. Как отмечал В.А. Никонов, для более позднего времени, середины XIX века, “крестьяне и рабочие употребляли изолированно отчество на *-ич* по отношению к уважаемым людям из своей среды” (Никонов В.А. Русские // Система личных имен у народов мира, М., 1986).

В состав ерофеичевой настойки входила трава *Hypericum perforatum*, обозначенная в словаре Преображенского как *ерофей* (название он не комментировал). По принятой ботанической классификации, это – зверобой продырявленный. Первая часть латинского названия, данного Карлом Линнеем, от греческого *hupo* – “около”, *ereiike* – “вереск”, т.е. “растущий среди вереска”. Вторая часть – определение “пронзенный, пробитый насквозь” – присвоена ему из-за многочисленных крапинок-железок, усеивающих листочки растения; черные точки просвечиваются, и лист выглядит как бы исколотым. Именно в этих “железках” содержится красящее вещество гиперин (по латинскому названию растения), позволявшее использовать отвар для крашения тканей в желтые, рыжие, красные тона.

Зверобой – древнейшее и широко применяемое в народе лекарственное средство, “здоровая трава”, “трава от девяноста девяти болезней”, хорошо известная врачам Древней Греции. Согласно архивным документам, в России его успешно применяли уже в XVII веке, для чего по царскому указу доставляли в Москву из Сибири в виде муки по

пуду каждый год. “Словарь русского языка XI–XVII вв.” иллюстрирует статью “Зверобой” фрагментами документов второй половины XVII века: “Трава имя ей белый зверобой, а мочно из тоей травы сидеть водки (1674 г.); Пуд зверобою травы цена руб. 20 алтын (1687 г.)....” (СлРя XI–XVII вв. М., 1978. Вып. 5). Ботаники считают название заимствованным из тюркских языков: по-казахски *джерабай* означает “целитель ран” (Махлаюк В.П. Лекарственные растения в народной медицине. 2-е изд. Саратов, 1991; Стрижев А.Н. Лесные травы. М., 1975). Измельченные свежие листья зверобоя, приложенные к ранам, способствуют их быстрому заживлению; в современной фармакологии используется полученный из растения иманин – сильное бактерицидное и ранозаживляющее средство.

Народные названия зверобоя разнообразны. Во-первых, созвучные русскому *зверобой* – украинское *дырбой*, белорусское *дзірбой*, польское *dziurawiec* и встречающееся в русских травниках *дыравец*. Перед нами, скорее всего, преобразования чужого слова *джерабай* по народной этимологии – “пробитый дырочками”. Преображенский видел здесь контаминацию *зверо-бой*, но никак не пояснил. Это название может быть обусловлено тем, что содержащиеся в зверобое вещества делают кожу светлошерстных домашних животных чувствительной к солнечным лучам, вызывают мучительный зуд, и переевшее травы животное, расчесываясь до крови, может погибнуть от язв. В народных названиях ядовитых растений такая модель редка, хотя и возможна: *конобой* (*травя-конеубийца*) – это звездчатка злаковая; *волкобой* (*волкогуб*, *волчий корень*) – аконит, или борец. Заметим, что в авторитетной литературе о растениях обычно не приводится легенд о смертельном действии зверобоя. Рассказанная, например, С.И. Ивченко история о гибели огромного хищника, который, “уподобившись мирному травоядному животному, стал щипать невысокие стебли” и вдруг погиб в муках, более напоминает художественный вымысел автора, чем народное предание (Ивченко С.И. Занимательно о ботанике. Смоленск, 2001). Поэтому, что вероятнее, зверобой так назван не по своей “убойной силе” (вспомним его исключительные целебные свойства!), а по звуковому сходству с иноязычным словом, отсюда еще одно созвучное и “этимологизированное” его имя – *хворобой*.

Другие названия зверобоя характеризуют растение иначе. Отвар зверобоя яркого цвета, напоминает кровь, следовательно, это *кровоавчик*, *заячья* или *молодецкая кровь*, *матери божьей слезы*.

Почему же Преображенский назвал зверобой *ерофеем*? Может быть, это тоже созвучие: *джерабай* – *зверобой* – *ерофей*. Может быть, потому, что он – основа целебной водки (*ерофеич* – *ерофей*): зверобой входит в рецептуру горьких настоек “Зверобой”, “Ерофеич” и “Бальзам” (Землинский С.Е. Лекарственные растения СССР. М., 1994. Т. 1).

Кстати, у Даля *ерофей* – это “черный-коровяк, *Verbascum nigrum*” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. I), а в статье “Зверобой” Даль перечислил около двадцати растений, именуемых в народе либо просто *зверобоем*, либо *зверобоем луговым*, *полевым*, *каменным*, *крестовым*, *древесным*, *лазоревым*, *синим*, *белым* и т.д.; это растения и с желтыми, и с беловатыми, и с голубыми, и с фиолетовыми цветками, по ботанической систематике относящиеся к различным семействам. Такое многообразие показательно. Как отмечает В.А. Меркулова, “народное название растения не обладает признаком однозначности... Обычно одним словом называются разные растения, а иногда целые группы растений” (Меркулова В.А. Очерки по русской народной номенклатуре растений. Травы. Ягоды. Грибы М., 1967). Вполне возможно, что произошло смешение названий: *зверобой обыкновенный* (*Hypericum perforatum*) – *степной зверобой*, он же *коровяк тараканий* (*Verbascum blattaria*) – *черный коровяк* (*Verbascum nigrum*). Коровяки, заметим, в рецептуру ароматных настоев не входят.

А может быть, это действительно, как пишет В.Г. Долгушев, “переход имени собственного в нарицательное (ср. *Иван-да-Марья*; *Иван-чай*; *Анютины глазки*), что характерно для народной речи, где некоторые названия цветов произведены от имен собственных” (Долгушев. Указ. соч.)? Пожалуй, перечислены самые популярные, общеизвестные и типичные. Конечно, в народной терминологии достаточно “именных” названий. Не претендуя на полноту охвата, разделим их условно на три группы.

Во-первых, “мифологические” названия, взятые, вероятно, из средневековых травников и лечебников: *соломонова печать* (купена), *авраамово дерево* (вербена), *адамова голова* (наш венерин башмачок или же волшебная мандрагора), *адамова свеча* (коровяк), *егорьево копьё* (тот же коровяк или гвоздика луговая), *романов цвет* (многочисленные “ромашки”, например, нивяник), *софиева трава* (гулявник струйчатый, или дескурайния Софии), *петровы батог*, или *петров кнут* (цикорий, зацветающий около Петрова дня), *трава доброго Генриха* (так называет лебеду, или марь белую, А.Т. Болотов) и др.

Во-вторых, названия, связанные с крестьянской жизнью, с любимыми русскими именами, ставшими символом, – с Иваном и Марьей. Большинство лекарственных трав заготавливали в начале июля – к этому времени многие растения цвели, набрав нужное количество полезных для себя и для человека веществ. Травы сушили от Аграфены Купальницы (23 июня по старому стилю / 6 июля по новому) до Петрова дня (так называемые Петры и Павлы, 29 июня / 12 июля), причем травы, собранные в Иванов день (один из наиболее почитаемых в народе праздников, Иван Купала, 24 июня / 7 июля), считались наиболее целебными. Накануне Купалы из лесных трав вязали веники и пари-

лись ими в бане на здоровье. Днем девушки завивали венки из трав, а вечером, гадая, пускали их по воде. Поэтому так много в народном травнике от Ивана: *иванова*, *ивановская*, *иван-трава*, *иванов цвет* – это и различные ромашки (например, нивяник, ромашка аптечная, ромашка непахучая), и лютик едкий, и кипрей, и букашник горный, и др.; *иванок* – зверобой, *иванчик* – подмаренник, *ивасик* – белый клевер, *иванчики* – колокольчики, *иван-чай* – кипрей. Есть и Марья: *марьин башмачок* – венерин башмачок, *марьиная трава*, или *марьин корень* – пион уклоняющийся, *лесовая марьяша* – нивяник. Растения, цветущие разными цветами, называют *Иван-да-Марья* – это и марьянник дубравный (светло-желтые цветы с фиолетовыми прицветниками), и трехцветная фиалка полевая, именуемая еще *веселые*, или *мышьи*, или *анютины глазки*.

В-третьих, довольно немногочисленны названия, данные по имени конкретного человека. Например, бытующее в Среднем Поволжье народное название эфедры двухколосной – *кузьмичева трава* – “связано с именем крестьянина села Виловатого Бузулукского уезда бывшей Самарской губернии Федора Кузьмича Мухавникова, который широко пользовался отваром этого растения для лечения” различных болезней и “был известен далеко за пределами Самарской губернии” (Махлаюк. Указ. соч.).

Сопоставив название *ерофей* с народной номенклатурой трав, вряд ли можно считать его типичным названием растения: это не библейско-мифологическое и не символически-русское имя, оно не связано с преданием о “первооткрывателе”, а кроме того, подавляющее большинство “именных” названий двухкомпонентно и построено по схеме “имя-определение + существительное”. Поэтому “оправданием” травы *ерофей* может служить лишь бальзам “*Ерофеич*”. Если бы было иначе и настойку нарекли в честь травы, то получился бы тот же “*Ерофей*” – как “*Зверобой*” или “*Зубровка*”, названная по растению *зубровка душистая* (*Hierochloa odorata*) и не имеющая никакого отношения к “*Анисовке*”, чье название образовано от сочетания “*анисовая водка*” по очень продуктивной модели, путем включения, наподобие *перловка* – *перловая крупа* или *перловая каша*, *зачетка* – *зачетная книжка*.

Ульяновск



Н. Н. ПАРФЕНОВА.

Русские фамилии конца XVI–XVIII веков
(по архивным источникам Зауралья)

Эта редкая и интересная книга вышла в свет в Сургутском государственном педагогическом институте. Оригинальность издания проявляется как в отношении объекта исследования, так и источников, на базе которых оно проведено. Это деловые записи, юридические документы: дозорные, переписные, ясачные, крестоприводные, шертовальные, приходо-расходные книги, ревизские сказки, рукоприкладные подписи и многие другие.

Автор провел исследование именно этих источников, так как по сравнению с другими, они дают наибольшее количество именовании людей. А к тому же регион Зауралья наиболее актуален в отношении формирования русских фамилий, так как в период с конца XVI по XVIII век он очень активно заселялся.

В книге показано, что русские фамилии, извлеченные из деловых и юридических документов, подтверждают два тезиса О.Н. Трубачева: “Для того, чтобы найти этимологию фамилии, нужно сначала локализовать ее происхождение”. К тому же, по его мнению, фамилии – важнейший материал “при исследовании вопроса о лингвистическом отражении истории культуры”. Русскими фамилиями Н.Н. Парфенова считает, вслед за Трубачевым, фамилии с формантами *-ов (-ев), -ин, -ский, -ых (-их)*, которые в данном регионе сформировались к XVIII веку на базе разных формул именовании человека.

Большое внимание в книге уделено развитию структур этих формул: *двухкомпонентных* (казакъ Богдашко Шека), *трехкомпонентных* (казакъ Богдашко Шишь Клементьевъ и др.), *четырёхкомпонентных*. При этом указывается, что двухкомпонентные именовании принадлежали новопоселенцам, ссыльным – бесфамильным людям.

Они состояли из имени (канонического и неканонического) и прозвища. Автор указывает тип документов, в которых преобладали двух- или трехкомпонентные именованья.

Архивные материалы Зауралья позволяют выявить ряд необходимых, свойственных этому региону способов именования человека. Интересно наблюдение Н.Н. Парфеновой о том, что в именованьях жителей Зауралья довольно часто встречаются географические названия тех мест, откуда прибыли новопоселенцы: Максимка *Вычегжанин*, Дружина Оверкиев *Пиняжанин* и т.п. Это наблюдение корректирует мнение Б. Унбегауна (Русские фамилии. Оксфорд, 1972), считавшего, что среди русских фамилий мало таких, в которых отражается место прежнего проживания человека. Но в этом-то и особенность формирования фамилий в Зауралье, куда стекались люди из разных мест, для которых было важно указание в прозвище (позже – фамилии) на место, откуда кто приехал. В трехкомпонентных фамилиях могли отражаться профессиональные занятия именуемых, что дает возможность определить распространение промыслов: Илюшка Костянтиновъ *Серебряникъ*; Шелковникъ, Гребеничикъ, Епанешниковъ, Котовициковъ, Лапотникъ, Шапошниковъ и др.

Автор отмечает довольно частые случаи именования двойными фамилиями, которые были вызваны необходимостью уточнения личности человека или использования их как оберегов: Олешка *Мосиевъ Богдановъ*, он же прозвище *Щелконоговъ* и др. Приводятся случаи именования не по отцу, а по главе семьи: Исачко Офремовъ снъ прозвище *Селивановъ шурин*. Указываются случаи тезоименитства: ...у него дети *Ивашко да Ивашко ж, Ивашко ж Третей, Ивашко Меньшой*.

Большое место уделено в книге словообразовательному анализу фамилий, при этом приводятся такие типы, без которых невозможно представить себе процесс формирования русских фамилий во всей полноте. Это фамилии на *-ой(-ей)*, *-ово(-ево)*: *Толстой, Чахлой, Некурящей* и т.п., широко распространенные при именовании простых людей в Зауралье в конце XVI–XVIII веков. Описаны частные случаи своеобразного варианта этих фамилий – субстантивированные формы родительного падежа на *-ого(-его)*, *-ово(-ево)*: *Дурново, Живого, Хитрово* и др. Фамилии на *-их(-ых)*, пришедшие в Зауралье, по мнению автора книги, с Севера, связаны с особым характером заселения этого региона: именование всех членов семьи по главе семьи (чьих вы) – *Санниковыхъ, Черепановыхъ, Белыхъ, Долгихъ* и др.

В книге приводятся классификации прозвищных фамилий, сделанные такими учеными, как А.М. Селищев, Б.О. Унбегаун, А.В. Супранская. Автор показывает, что принципиальной разницы между этими классификациями нет, речь идет только о дробности рубрик по мотивирующим основам. Классификация автора книги представляется

более убедительной – на основе прямого употребления мотивирующих слов или метафорического и метонимического их употребления.

Исследователь найдет в книге Н.Н. Парфеновой много других фактов, отражающих малоизвестные процессы формирования русских фамилий, без учета которых невозможно представить себе полноты характера и становления этого процесса в русском языке.

В словарной статье приводятся фамилия и ее варианты, если они имеются: *Зяблов (Зяблого, Зяблой)*, *Нехорошков (Нехорошковых)* и др. Кроме того имеется иллюстрация в виде текста из источника и мотивирующее существительное. Иногда даются сведения словообразовательного и фонетического характера, например:

“Бырылев. Михалко Бырылев, тарский стрелец (1626 г.). В современных говорах Урала *бырла* – толстая отвисшая губа у человека и собаки (Словарь говоров Среднего Урала). Произношение *бырыль* вместо *бырль* обусловлено фонетическими особенностями местных говоров”.

К сожалению, книга издана очень маленьким тиражом, и, вероятно, не дойдет до широкого круга исследователей.

Годом раньше (2000 г.) в этом же издательстве (Сургутский гос. пед. ин-т) вышла в свет другая книга Н.Н. Парфеновой – “Словарь русских фамилий конца XVI–XVIII веков (по архивным источникам Зауралья)”. В него включено 1526 фамилий и их вариантов. В нем, по мнению автора, “осуществлена интерпретация фамилий с точки зрения истории, этимологии, семантики, структуры, распространенности, престижности”.

Г. П. Смолицкая,
доктор филологических наук





А. Б. КОЗЬЯКОВА

Молодежи, как правило, свойственно критическое, ироническое отношение к давлению извне, она стремится противоречить традициям, разрушать их. Молодые люди высоко ценят эпатаж, неординарный жест, поступок, слово. Все это – почва для произрастания молодежного жаргона.

В то же время молодежный жаргон – это групповой код, пароль, указывающий на принадлежность к “своим”, выделяющий носителя из социума. “Стадный инстинкт” заставляет страдающего от одиночества и внешнего давления подростка искать себя среди себе подобных. Бравируя своей причастностью к группе, “выделенностью”, он употребляет слова и выражения, которые приводят в ужас родителей и

учителей, но помогают ему самоутвердиться, потому что виртуозное владение жаргоном дает ему возможность добиться более высокого положения в своей среде.

Для молодежного жаргона характерны повышенная метафоричность, экспрессивность. Особенно ярко это проявляется во фразеологии. Нередко фразеологизмы выходят за пределы жаргона, попадая в просторечие, и уже не осознаются как специфические для молодежи. Например, выражение "с бодуна" распространено довольно широко, хотя и отмечалось как присущее молодежному жаргону. Оно оставило свой след в студенческом фольклоре: "Верим даже с бодуна: будет сессия сдана".

Обычно фразеология молодежного жаргона описывает наиболее близкие его носителям явления, действия и состояния. Психика молодого человека неустойчива, ему свойственны частые перемены настроения, поэтому жизнь его состоит из крайностей: все либо замечательно, доставляет удовольствие – *в кайф, в жилу, по приколу, всё ништяк, всё пучок*, можно *оттягиваться в полный рост*, либо все отвратительно, тогда *всё не в кайф*, приходится *морищить коленки* (напрягаться), хочется *склеить ласты* (умереть).

Порой один и тот же фразеологизм используется для выражения восторга и ужаса: *туши свет и стройся*, реже *туши свет, кидай гранату*.

Лень и нежелание что-либо делать передаются образными выражениями *только шнурки поглажу, валенки зашнурую, уши накрахмалю. Давить блох и пинать балду* – вот частотные наименования безделья.

Широко распространены в молодежном жаргоне фразеологизмы, оценивающие странности в поведении (*креза покатила, маразм крепчал, крышу сносит / срывает, башню сносит / срывает, крыша улетает / уезжает*) или низкие интеллектуальные способности (*здравствуй, дерево, квадрат в квадрате, синдромо даунито*).

Множество фразеологизмов выражает состояния алкогольного и наркотического опьянения (*глаза в пучок, пьян, как сто китайцев, сидеть на игле, забить косяк*). Естественно, что большинство фразеологических оборотов основано на целостном метафорическом переносе свободных сочетаний. Рассмотрим выражения *забить стрелку* и *перевести стрелку*.

Забить стрелку. В литературном языке слово *стрелка* имеет значение "знак, указатель"; *забить* – значит "вбить глубоко, до конца" и т.п. Получаем значение всего свободного сочетания "вбить (в землю) указательный знак". Так абстрактное значение "назначить встречу на определенное время в определенном месте" выражается конкретным физическим действием – "поставить знак в определенном месте".

Перевести стрелку. А в этом выражении внутренняя форма иная, хотя употребляется вроде бы то же слово *стрелка*. Дело в том, что

это слово в литературном языке многозначно и при образовании фразеологизма использовалось в разных значениях. *Стрелка* здесь – “устройство на рельсовых путях для перевода подвижного состава с одного пути на другой”. Свободное сочетание “перевести стрелку” переосмысливается целиком, абстрактное значение “свалить вину на другого” снова реализуется через сходство с конкретным действием в объективной действительности. Оба фразеологизма являются очень частотными в молодежном жаргоне, иногда употребляются и за его пределами.

Не менее продуктивен метонимический перенос, причем обычно используется формула “состояние человека – его физическое проявление”: *в полный рост, глаза в пучок, до потери пульса*. Фразеологизм *в полный рост* ввел в активное жаргонное употребление Дмитрий Шагин, родоначальник и идейный лидер хорошо известных “митьков” (название напрямую связано с его именем). “Митьки” – экспериментальное товарищество ленинградских художников, созданное в 1982 году. После его развала возникла другая группа – “Новые митьки”. Своеобразным лозунгом движения было: “Митьки непобедимы, потому что никого не хотят победить”.

Словосочетание *потеря пульса* отражает результат крайнего напряжения, до предела возможностей, а выражение *глаза в пучок* по сути своей является алогизмом, так как описывает невозможное физическое действие (в пучок можно собрать волосы, но никак не глаза). Но эта невообразимая картина используется для передачи состояния опьянения, в котором с человеком могут происходить самые невероятные физические изменения. Алогизмы возникают в молодежном жаргоне сложными способами. В их образовании тесно переплетаются метафора и гипербола, гипербола и метонимия, гротеск и метафора. В каждом конкретном случае трудно определить, что в выражении присутствует в большей степени. Объединяет их одно: все эти сочетания слов описывают совершенно нереальные, невозможные в объективной действительности фантастические действия и состояния.

Фразеологизм *висеть на ушах* имеет значение “долго говорить к неудовольствию окружающих”. Разумеется, ни один человек не может висеть на ушах у другого (а тем более, у других). Но его долгая, нудная речь создает впечатление того, что этот человек ухитрился повиснуть на ваших ушах, кажется, что он никогда не отстанет, не замолчит, а вам придется без конца слушать его.

Точно так же невозможно *ходить на ушах*. Но здесь идет речь о ярком проявлении веселья, поэтому допускается любое, пусть абсолютно невероятное и невыполнимое действие, лишь бы оно отражало свободу (в том числе и от условностей объективной действительности) и радость.

Особенно интересен фразеологизм *купи себе эРГэЗээМ* (ручную “губозакатывательную” машинку). Здесь выражается пожелание “за-

катать губы" (в противовес фразе *раскатать губы* – "размечтаться"), то есть перестать мечтать и надеяться на несбыточное. При этом предлагается не просто "закатать губы" (что само по себе невозможно), но сделать это с помощью некоего фантастического приспособления, которое еще вдобавок следует где-то приобрести. При этом значение оборота остается прежним. Широкая вариативность в названии вышеупомянутого приспособления указывает на то, что в молодежном жаргоне оборот пользуется популярностью, хотя еще не закрепился окончательно. Неслучайна и аббревиация в названии механизма. Во-первых, это звучит более солидно и серьезно, во-вторых, проще и быстрее произносится, а в-третьих, дает еще одну возможность для издевки (расшифровать для непосвященного, казалось бы, невинную аббревиатуру, чтобы раскрыть всю глубину иронии и стеба).

В молодежном жаргоне существуют свои пословицы и поговорки: *Жадность фраера погубит* (не следует жадничать или есть слишком быстро); *Не спи – замерзнешь* (призыв взбодриться); *Прошла любовь, завяли помидоры*; *Между нами – дохлый бобик* (о разрыве отношений).

Во фразеологии молодежного жаргона, как и в лексике, проявляется стремление к играм со звуками. Фонетическая мимикрия в лексике выражается в звуковом уподоблении слова или его преобразованного варианта другому слову (*папуас* – папа, *мамонт* – мама). Цель фонетической игры – выразить собственное, обычно ироничное, отношение к явлению.

Молодежный жаргон часто называют "коллективной игрой" молодежи. В ходе этой игры рождаются слова и выражения с определенным содержанием и эмоциональным наполнением. Важно лишь, чтобы игра шла по правилам, не выходила за рамки допустимого.

Тверь

Не всегда пишется то, что слышится

О правописании согласных

В.Г. ЗДАНКЕВИЧ

В русском языке имеются определенные закономерности в соотношении правописания согласных с их произношением. В положении перед глухими согласными звонкие меняются не глухие, а глухие перед звонкими – на звонкие.

Написание согласных непосредственно определяется произношением лишь тогда, когда согласные звуки стоят перед гласными или перед согласными *л, м, н, р*, перед *йотом* и перед *в*. Например, в словах *сила, слово, смех, снег, срок, лисья* [л' и с' йа], *свирель* написание согласного *с* можно не ставить под сомнение (в таких случаях пишешь то, что слышишь).

Наиболее “ошибкоопасными” являются парные по глухости – звонкости согласные звуки, когда они находятся в слабой позиции, т.е. в положении перед другими согласными (кроме *л, м, н, р, йота* или *в*) или в конце слова (перед пробелом).

Напоминаем: *б в г д ж з* – это звонкие согласные.

п ф к т ш с – это их глухие пары.

В группах из двух согласных происходит уподобление качества одного звука качеству другого, следующего за ним. Так, в словах *гибкий, скользкий, подружка, невский* звонкие согласные под воздействием следующих за ними глухих произносятся так же глухо, как, например, и в словах *липкий, веский, ватрушка, шефский* (ср.: ги [пк]ий – ли[пк]ий, сколь[ск]ий – ве[ск]ий, подру[шк]а – ватру[шк]а, ше[фс]кий – ше[фс]кий).

В словах же *сборник, пересдача, отделка, отбить, настбище* глухие согласные, подвергаясь воздействию следующих за ними звонких, тоже произносятся звонко, как и в словах *избушка, раздача, подделка, подбить, кладбище*.

В конце слов (перед пробелом) возможны только глухие согласные звуки (здесь и звонкие согласные произносятся, как глухие). Например: сугро[п] – подко[п], богосло[ф] – филосо[ф], пиро[к] – творожо[к], снаря[т] – квадра[т], пейза[ш] – шала[ш], францу[с] – тунгу[с]. Буквенные же обозначения у этих слов различны: сугроб – подкоп, богослов – философ, пирог – творожок, снаряд – квадрат, пейзаж – шалаи, француз – тунгус.

Итак, сочетание двух глухих или двух звонких согласных, а также глухие согласные в конце слов должны при их написании вызывать у

пишущих сомнение и проверяться другой формой того же слова или таким однокоренным словом, где после проверяемой согласной оказалась бы гласная или согласная *л, м, н, р, йот, в*, и писать ту согласную, которая пишется перед ними.

Приведем примеры проверок.

1. При сочетании двух глухих согласных в середине слов:

тру[пк]а – труба, трубный – трубка
тря[пк]а – тряпочка – тряпка
рука[фч]ик – рукава, нарукавник – рукавчик
шка[фч]ик – шкафы, шкафной – шкафчик
ко[кт]и – коготь – когти
ло[кт]и – локоть – локти
сла[тк]ий – сладость – сладкий
кра[тк]ий – краток, коротенький – краткий
сапо[шк]и – сапожок, сапожный – сапожки
кро[шк]и – крошечка, крошить – крошки
ни[ш]ий – низок, низменный – низший
вы[ш]ий – высок, высота – высший
перевос[ск]а – перевозить – перевозка
перено[ск]а – переносить – переноска
ло[шк]а – ложечка – ложка
ко[шк]а – кошечка – кошка
кни[шк]а – книжечка, книжный – книжка
пы[шк]а – пышечка, пышный – пышка
блю[тц]е – блюдо – блюдце
коры[тц]е – корыто – корытце
пол[ст]и – ползать, ползли – ползти
тря[ст]и – тряску, трясли – трясти

2. При сочетании двух звонких согласных в середине слов:

моло[д'б]а – молотить – молотьба
уса[д'б]а – усадебный – усадьба
ре[з'б]а – резать, резной – резать
про[з'б]а – просить – просьба
су[д'б]а – судить – судьба
жени[д'б]а – женатый – женитьба

3. При наличии согласных в конце слов:

лесору[п] – лесорубы – лесоруб
землеко[п] – землекопы – землекоп
уло[ф] – уловить, ловля – улов
штра[ф] – штрафы, штрафной – штраф

фла[к] – флаги – флаг
рюкза[к] – рюкзаки – рюкзак
запа[т] – западать, западный – запад
кана[т] – канаты, канатный – канат
арбу[с] – арбузы, арбузный – арбуз
бизне[с] – бизнесмен – бизнес
бага[ш] – багажник – багаж
шала[ш] – шалашик – шалаш

Таковы способы, “проясняющие” написание согласных, употребляющихся в конце слов, а также написание сочетаний двух глухих или двух звонких согласных.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ “РУССКАЯ РЕЧЬ” В 2003 ГОДУ

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашева Д.В. Мотив молодечества в лирике Н.М. Языкова	2
Александрова И.Б. “Высокая простота” поэзии Н.М. Карамзина .	3
Александрова И.Б. “Трудолюбивый филолог” В.К. Тредиаковский	2
Ауссем И.А. “Я вспомнил время золотое”	6
Басовская Е.Н. Реалии советского времени в повести Ю.В. Трифонова “Обмен”	3
Белова А.В. “Туда взлетая, звук немет”	6
Белошин А.М. Буря – пловец – челн – парус в русской поэтической традиции	4
Белошин А.М. Роль пейзажа в рассказе К.Г. Паустовского “Снег”	1
Бельская Л.Л. “Твои ледяные А” (О цикле А. Тарковского “Памяти А.А. Ахматовой”)	2
Бельская Л.Л. “Филологические” стихи Александра Кушнера .	5
Воропаев В.А. “Кругом тонула Россия Блока...” (О евангельской параллели в поэме В.В. Маяковского “Хорошо!”)	1
Воропаев В.А. Русская эмиграция о Н.В. Гоголе	2, 3, 4
Гапоненко П.А. Поэтическое слово у Ф.И. Тютчева и А.Н. Майкова	5
Грачева И.В. Лейтмотив “Александровского времени” в романе И.С. Тургенева “Отцы и дети”	5
Грек А.Г. Тютчевские мотивы в творчестве Вяч. Иванова	6
Дмитриева Т.Г. “Горько пахло осенним тлением...” (Запахи в прозе И.А. Бунина)	5
Дмитриева Т.Г. “Как все это волнует меня!” (О романтическом	

в мироощущении И.А. Бунина)	6
Игнатенко О.Н. Дочь капитана – “Капитанская дочка”	1
Калашникова Н.М. “Человек создан для счастья...” (Вставные афоризмы в прозе В. Токаревой)	1
Ковтунова И.И. Поэтика уходящего мгновения	6
Лекманов О.А. Внимательному читателю рассказа В.В. Набокова “Весна в Фиальте”	2
Матвеев Б.И. Звучащая проза М.Е. Салтыкова-Щедрина	4
Милованова М.С. <i>Напротив</i> в стихотворении А. Ахматовой “Третий Зачатьевский”	5
Мраморнов О.Б. Творчество, сердце, музыка, песня... (О цикле стихотворений Н.А. Заболоцкого 1946 года)	3
Новиков А.Л. “Вино, осенней стужи друг”, или как возникает в тексте поэтический смысл	5
Попова Е.А. “Упреки совести...” (Понятие “совесть” в русской литературе)	4
Ранчин А.М. “Бог сохраняет все, особенно слова...” (Аллюзии в поэзии И. Бродского)	4
Удалых Г.Д. Поэт, философ, дипломат	6
Чуйкова О.А. “Музыку я перевел на слово” (О мифотворчестве А.М. Ремизова)	5

ЭПИСТОЛЯРИЙ

Авилова Н.С. Письма А.П. Чехова из Ниццы	1
Ковалева Н.А. Эпистолярные рекомендации А.С. Пушкина и А.П. Чехова	1

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Анненкова И.В. “Чистая критика” Петра Бицилли	1
Бицилли П. Заметки о Пушкине	1
Венгеров С.А. Последний завет Пушкина	3
Даль В.И. “Не стыдно ль вам!” (Комментарий Ю.П. Фесенко) ..	6
Мандельштам Юрий Владимирович (1908–1943)	5

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

Гугунава Д.В. Гендиадис-шмендиадис? (О повторах-отзвучиях) ...	5
Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Сказав мало, сказать многое ...	3
Максимов В.И. Фразеологизмы и сопредельные с ними конструкции	4
Поспелова Е.Г. Парное многоточие – как стилистический прием ..	5
Шустов А.Н. <i>Горячий снег, злое добро</i> и другие “нелепицы”	6

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Алиева Г.Н. Что скрывают аббревиатуры?	5
---	---

Головина Э.Д. Виснет ли брань на воротах? (Как мы коверкаем фразеологизмы)	5
Емельянова О.Н. О пометах с семантикой времени в толковых словарях.....	1
Еськова Н.А. Когда появилось слово “хохма”?	3
Еськова Н.А. На надоевшую тему о глаголах <i>одеть</i> и <i>надеть</i> ... Зелейин А.В. “Смотрит в книгу...”	2
Колтунова М.В. Что несет с собой жаргон	1
Красных В.И. <i>Сильный</i> – <i>силовой</i>	3
Красных В.И. <i>Целый</i> – <i>цельный</i> – <i>целостный</i>	5
Максимов В.И. Графические игры	5
Москвин В.П. <i>Явствен</i> или <i>явственен</i> ?	2
Панова М.Н. Школа для чиновников	3
Панова М.Н. Язык государственного управления: “ <i>наработки</i> ” и “ <i>подвижки</i> ”	5
Сеничкина Е.П. Сказать или умолчать?	4
Словом можно убить, словом можно спасти (Беседа с М.В. Горбаневским)	6
Сурикова Т.И. “Не разлучат нас никогда коты, невзгоды и года”	3
Фролова О.Е. Имя собственное в культуре и речи	6
Черникова Н.В. Слово вместо словосочетания	3
Чудинов А.П. Новые русские метафоры	1, 2
Чудинов А.П. Финансовая метафора в политической речи	4
Шустов А.Н. Из истории недавних неологизмов	4

ЯЗЫК ПРЕССЫ

Басовская Е.Н. Обезглавливание через озаглавливание	4
Клушина Н.И. В какие игры мы играем	1
Муравьева Н.В. Кого осчастливил губернатор? (О языке и стиле пресс-релизов)	3
Цао Юэхуа. Разговорная речь в газетной публицистике	5

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

Кондратович Кириак Андреевич (1703–1788)	1
Овсяннико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853–1920)	6
Шварцкопф Борис Самойлович (1923–2001)	2

ИЗ АРХИВА УЧЕНОГО

Высотский С.С. Д.Н. Ушаков и русская диалектология	6
Ожегов С.И. О критериях объективного определения омонимов	1

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

Баранкова Г.С. Творческое наследие киевского митрополита Никифора	6
Барыгина О.В. Выражение сокровенного протопопом Аввакумом	6
Горюшина Р.И. Именования иерархов христианской церкви	1
Горюшина Р.И. Имя Ему Бог (Об именованиях верховного божества)	3
Грачева И.В. Ивашка Хмельницкий – герой Петровского времени	4
Державина Е.И. “Великий муж русской грамматики” А.А. Барсов	4
Державина Е.И. Иван Болтин – историк по призванию	2
Качалкин А.Н. Названия деловых бумаг в XVIII веке	2
Качалкин А.Н. Названия документов в XIX веке	3
Качалкин А.Н. Разные названия и значения одного документа .	1
Кулмаматов Д.С. Холоп твой – общий ваш холоп	4
Никитан О.В. Диалектная лексика в деловых документах XVIII века	4
Никитин О.В. <i>Поле, недельщик, противень</i> (Древнерусская юридическая лексика)	5
Ольшевская Л.А. История заглавий в Киево-Печерском патерике	2
Решетова А.А. “Книга глаголемая странник” (История названий в путевой литературе Древней Руси)	5
Рублева Л.И. “С великим удовольствием моего сердца...” (В.К. Тредиаковский и развитие русской прозы XVIII века)	2
Савельева Л.В. О Ярославле Осмомысле как герое “Слова о полку Игореве”	5
Солодкин Я.Г. Иаков и Исидор – соловецкие хранители духовной культуры	2
Судаков Г.В. “Водка вину тетка”	1
Трофимова Н.В. Своеобразие стилистики “Повести о нашествии Тохтамыша”	4

ИЗ ИСТОРИИ ГРАММАТИКИ

Дубкова О.А. О происхождении суффикса -онн(ый)	4
---	---

ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛЕКСИКОНА XX ВЕКА

Зеленин А.В. <i>Господа, граждане и товарищи</i> в эмигрантской публицистике	6
Зеленин А.В. Цветовые прилагательные в эмигрантской публицистике	3

РУССКИЕ ГОВОРЫ

Шульгач В.П. Нос с коросинькою	1
--------------------------------------	---

ОНОМАСТИКА

Королева И.А. Ономастические пространство и поле в языке ..	2
---	---

ТОПОНИМИКА

Королева И.А. Гагарин и Демидов или Гжатск и Поречье	5
Маршева Л.И. Липецкие планы	1
Шилов А.Л. Кадаши и Бараши: миф и реальность	4
Шилов А.Л. Окраины Москвы (От Аминьева и Бескудника до Чертанова и Ясенева)	3

ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА. ПИСАТЕЛЬ И ФОЛЬКЛОР

Брысина Е.В. “У вас товар, у нас купец” (Обрядовая фразеология донской казачьей свадьбы)	3
Дмитриева Т.Г. Пейзаж в народной волшебной сказке	1
Евдокимова Л.В. Загадка в поэме В. Хлебникова “Сельская очарованность”	4
Захаров В.М. Фольклорные образы в сценической народной хореографии	6
Коршунков В.А. Сорока и дети	2
Тарланов З.К. Колыван-богатырь и Пучай-река (Русский былинный изафет)	5
Филатова В.Ф. “Цвели во поле цветочки...”	4

НАРОДЫ И ОБЫЧАИ

Баасанжаргал Ч. В чужой монастырь	3
---	---

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Арапова Н.С. Псивый и сивуха	3
Баранова Л.А. Как из земляных яблок выросла картошка	4
Баранова Л.А. Латинский “корень” в русском огороде	2
Баранова Л.А. Петрушка – “горный сельдерей”	5
Добродомов И.Г. Как барбон породнился с Бурбоном	1
Зеленин А.В. Бутлегеры, контрабандисты, самогонщики	5
Зеленин А.В. Космополиты и почвенники	1
Зеленин А.В. Сухой закон	4
Иванов С.Л. Денди	2
Иванов С.Л. Фешенебельный	3
Мединская Е.В. Драма	2
Рябушкина Л.А. Лекарь Ерофеич и зверобой – целитель ран ...	6

Суслова И.П. Пудель	4
Федорова И.В. Деревянный рубль	5

ЗА ЗНАКОМОЙ СТРОКОЙ

Добродомов И.Г. Как урыльник стал будильником	3
Шустов А.Н. “И арф эоловых безмолвен грустный ряд...”	2

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЗ

Зданкевич В.Г. В течение, в продолжение, в заключение, вследствие	3
Зданкевич В.Г. Знаки препинания в предложениях со сходной структурой	5
Зданкевич В.Г. Не всегда пишется то, что слышится	6
Зданкевич В.Г. О двух орфограммах	4
Ситникова Е.В. Языковые ошибки в сочинениях	2
Чупашева О.М. Категория рода существительных	1

СРЕДИ КНИГ

Аникин В.П. Русское устное народное творчество	1
Балакай А.Г. О русском речевом этикете	4
Дуличенко Л.В. . Словарь обидных слов	4
Живое слово и жизнь	5
Ильясова С.В. Словообразовательная игра как феномен языка современных СМИ	2
“История картотеки словаря русского языка XI–XVII вв.”	2
Истрин В.М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (XI–XIII вв.)	5
Камчатнов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание	5
Парфенова Н.Н. Русские фамилии конца XVI–XVII веков (По архивным источникам Зауралья)	6
Словарь и культура русской речи	3

ПОЧТА “РУССКОЙ РЕЧИ”

Головина Э.Д. “Бывают странные сближенья...” (Об орфографических ошибках на почве ложных этимологий)	2
Ковалев Г.Ф. Возвращаясь к напечатанному	5
Кожин А.Н. “Второй фронт”	3
Козьякова А.Б. Фразеология молодежного жаргона	6
Хан-Пира Эр. “В лесу раздавался топор дровосека”	1

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ КАЗУСЫ

Еськова Н.А. Знаете ли вы слово <i>силье</i> ?	1
---	---